

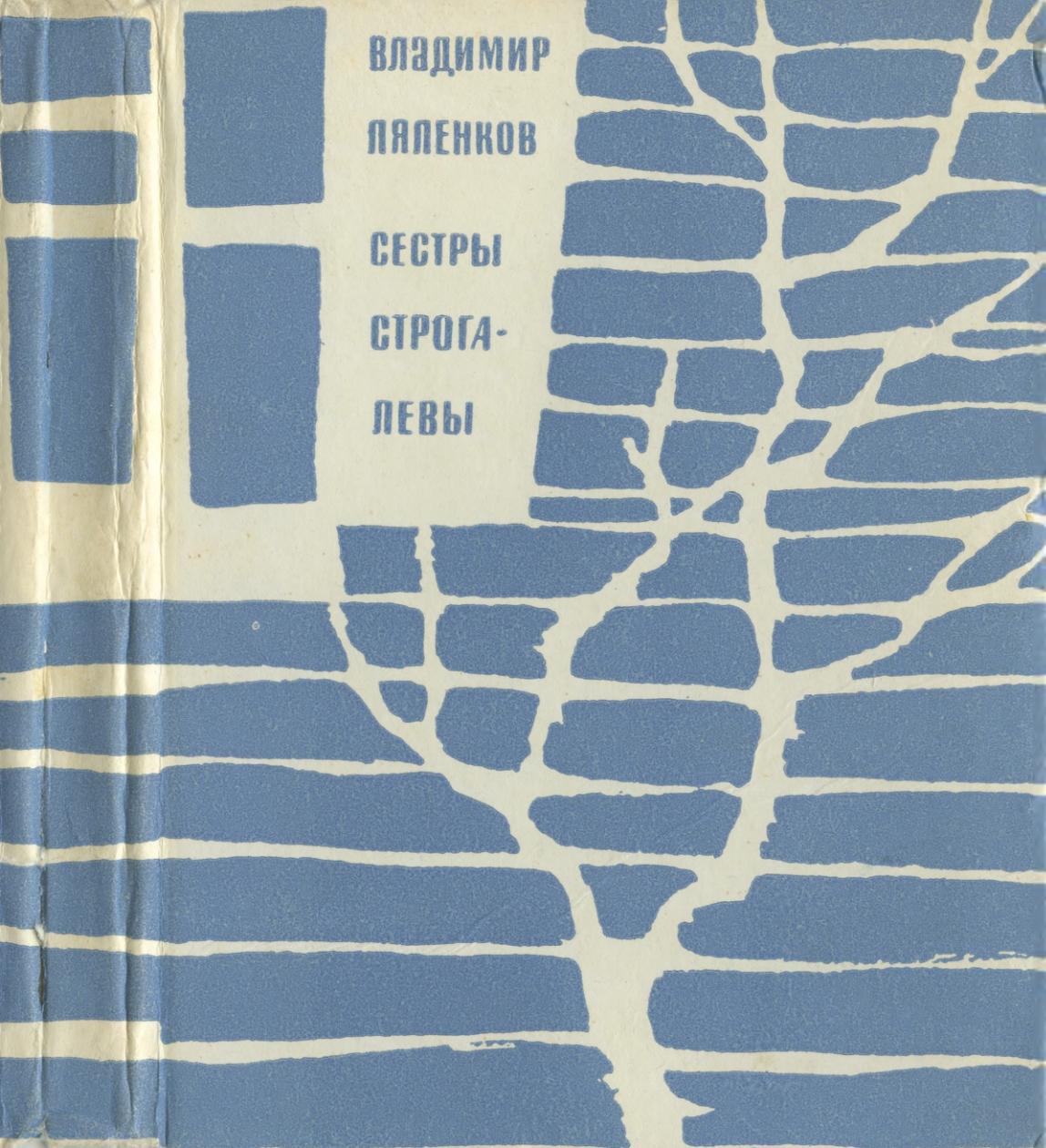


ВЛАДИМИР
ЛЯЛЕНКОВ

**СЕСТРЫ
СТРОГА-
ЛЕВЫ**



Владимир Дмитриевич Ляленков родился в 1930 году. В 1956 году он окончил Ленинградский политехнический институт и уехал работать инженером-строителем в город Пиналево Ленинградской области, где живет и сейчас. В 1962 году издана первая книга В. Ляленкова — роман «Борис Картавин». Рассказы и повесть, вошедшие в сборник «Сестры Строгалева», написаны в 1954—1961 годах.



ВЛАДИМИР

ЛЯЛЕНКОВ

СЕСТРЫ

СТРОГА-

ЛЕВЫ

ВЛАДИМИР ЛЯЛЕНКОВ



**С Е С Т Р Ы
СТРОГАЛЕВЫ**

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТЬ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА · 1984 · ЛЕНИНГРАД

Р 2
Л 97

ТАЙНА В ПОДЛЕСАХ



деревня совсем небольшая. Называется она Подлеса. В деревне двадцать изб, крытых тесом, колхозный скотный двор и конюшня, которая находится метрах в пятидесяти от остальных строений.

В трех километрах от этой деревни лежит большое село, там и сельсовет. Но рассказ пойдет не об этой большой деревне, а о Подлесах.

В Подлесах все избы вытянулись в два порядка, образовав длинную и единственную улицу. Ту часть улицы, которая дальше от леса, когда-то вымостили камнем — там проходит шоссе. Другой конец — немощеный — упирается у самого леса в болото.

От войны и оккупации дерев-

ня сильно пострадала и не могла отдышаться до самого 1954 года. Главное, что не было мужиков.

Вот до войны было времечко! В каждой избе мужик, хозяин. Тогда пахали даже далекие поляны в лесу, сеяли там хлеб и сами все убирали до дождей. Как быстро управлялись мужики!

Но пришла война, потопталась в этих местах и отняла у деревни и мужиков и молодых парней.

Правда, остался один — бригадиром работал, да и тот разве мужик? Все кашлял и холода боялся. Еще мужицкого племени был Васька Новкин — ему перевалило уже за семнадцатый год, и работал он трактористом, — да у Ивановны жил за мужика кривой Серега, скот пас.

Были в семьях молодые ребята, да учились в городе или работали там.

Помнили бабы подлесовских мужиков — Егора Жваткина, Ефима Соева, Семена Сыромятникова и часто встречали их в городе, куда ездили на базар. Звали мужиков обратно, но те с этим не спешили, о своей деревне только вспоминали.

Чаще других встречали бабы на базаре Семена Сыромятникова, работавшего на каком-то заводе и приходившего на базар повидаться с земляками. Он даже приглашал баб в гости, расспрашивал о деревне, где он вырос и где теперь не было у него ни избы, ни семьи.

А бабы страсть любили, попав в город, поговорить со своим человеком, поделиться с ним своим бабьим горем. А горя много: в деревне на двадцать изб — все бабы. Да еще и девки. Эти так и смотрели, как бы улизнуть куда — учиться, что ли, или на завод какой.

Весной и осенью в Подлесах всюду была грязь, только на шоссе ее не было.

Бабы и ребята протаптывали тропки по грязи, кое-где мостили улицу палками, хворостом и так знали свои проходы, что даже ночью без огня могли пройти, не слишком запачкав ноги.

На семейное свое одиночество бабы вначале сердились, но потом смирились, попривыкли.

Оживала деревня весной, когда приползали тракторы. Из Ленинграда приезжали люди с заводов и помогали засеять землю хлебом, турнепсом, сажать картошку. И осенью было хорошо...

Приезжали студенты. Они по ночам жгли за деревней костры, пели песни и говорили о разном. К кострам приходили девчата... Кругом стояли стожки соломы и сена, под ними было тепло, пахло сухим летом и хлебом.

Трактористы и городские люди были всегда веселы, работали быстро, с маху, и, сделав дело, уезжали.

Во второй избе, считая от того конца деревни, который упирается в лес, жила тетка Катерина. За глаза ее называли Свистунихой. Перешло это прозвище от мужа, которого в деревне звали Свистуном за страсть к вранью.

Тетка Катерина жила с внучкой. Внучке было уже двадцать три года, и Катерина не знала, за кого же девка выйдет замуж. Сама тетка работала в колхозе; впрочем, только для порядка, так как имела свой огород, корову и овцу. Были у нее четыре курицы, но две неслись по соседским дворам и доставляли только хлопоты.

Тетка ходила на болото, за клюквой, собирала

в лесу грибки и по воскресеньям, с легкой ноги, отправлялась в город, где и продавала клюкву стаканами, а грибки — блюдами.

В городе она всегда покупала какие-нибудь тряпки, сахар, булку да чай. Изредка, чтобы освежиться, катила прямо в Ленинград, где на колхозном рынке проворно торговала.

Все лето, до самой что ни на есть глубокой осени, она ходила босиком, и ее сильные сухие ноги не болели никогда. На болото шла босиком, на скотный — босиком, только на базар приодевалась. Одежду своей внучке она справляла хорошую, почти по-городскому.

Внучку звали Зиной, и была она невысокая ростом, но видная собой. У нее были крепкие, как у тетки, ноги, маленькие красные руки и круглое лицо с ровным носиком и сонными сладкими глазами. Она когда-то училась, но бросила школу, не окончив семи классов. Подругам сказала, что хочет работать, помогать дома, а дома заявила, что учиться не может и пойдет в колхоз.

Тетка Катерина поначалу ругала ее, потом перестала. Утомилась. В базарные дни старуха засиживалась у Семена Сыромятникова, приносила ему гостинцы и жаловалась на свою дуру внучку, осторожно клоня к тому, чтобы тот пристроил Зинку работать в городе. Семен же то ли не понимал намеков, то ли притворялся и все только расспрашивал — как и что в деревне.

Тогда тетка однажды выложила все начистоту, прямо то, что хотела от него.

Семен выслушал, поводит плечами под не очень новой гимнастеркой и вдруг обругал Катерину за ее такое отношение к внучке:

— Вам бы все на город смотреть... а сами ни черта не смыслите в нем.

— То-то ты смыслишь, — огрызнулась тетка Катерина, не поняв, чем рассердила земляка. — Забыл небось, как и навоз-то пахнет... — И тут она выпалила все, что накопилось у нее за последние годы: — Вы, вы, окаянные мужики, понамутили в жизни... Ученые. Ишь и книги-то на столе! Сам из деревни убег, а девку в город взять не может... — И она понесла, понесла... про все обиды бабьи, деревенские.

Шумела до тех пор, пока не почувствовала, что облегчила душу. Тогда собрала кувшины, мешки, замоталась в платок и ушла.

Зина вместе с теткой стала работать на скотном дворе. Была она с виду спокойна и молчалива, только по ночам ворочалась, сталкивала с печки одеяло или тужурку — вроде ей было жарко.

А утром похаживала по комнате растрепанная, неодетая и, заложив руки за голову, о чем-то все думала, потягиваясь и мурлыкая.

Тетка Катерина ругалась в такие минуты и торопила ее на работу.

— Эк поет и тянется, корова яловая, — говорила она. — Жеманься! Эво Нюрка пошла... — тыкала она пальцем в окно.

В ответ Зина только махала рукой.

На скотном дворе она ходила за телятами, перешучивалась с девушками. Если забегал по делам бригадир, стреляла лукавыми глазами и хохотала так, что тот смущался.

Забегал и Васька Новкин, шустрый, всегда перепачканный мазутом малый. И Ваське попадало.

Вечерами в холодные дни девки собирались у кого-нибудь в избе, заводили патефон, пели под гармошку и плясали. Тогда приходил к ним косой Серега, жилистый, худой, хитро подмигивал и ладил кого-либо ущипнуть.

Приходил поплясать Васька, приодетый, в начищенных сапогах. Девчата жарко глядели на него, но хватали за зуб, когда он вольно вел себя.

Когда было тепло, бродили по деревне или уходили в соседнее село, где был клуб и по субботам кинофильмы. Подлесовцы питали к соседям зависть и мечтали о собственном клубе.

Был пятидесятый год, время шло уже к осени. Наступила уборка урожая, и приехали студенты. Человек сто или больше.

К удивлению подлесовцев, вместе с ними прибыл и Сыромятников. Он с бригадиром расселил ребят по избам, сам же поселился у тетки Катерины, привезя ей в знак примирения платок. Поселились у нее и два студента.

«Вот те на! — говорили подлесовцы про Семена. — Видать, выгнали из города, либо спился!»

Студенты — веселые, здоровые ребята — вставали раньше самих колхозников и по примеру Семена сейчас же отправлялись в поле. От трактора Семен отказался, а бригадиру заявил, что трактор с бороной копает картошку процентов на пятьдесят, а остальную оставляет в грязи. Работали студенты поэтому лопатами, подбирая за собой всякую картошку. Покончив с картошкой, взялись за уборку яровых.

Ходили они в поле и с поля с песнями, и де-

ревня каждый раз провожала их удивленными глазами тихих изб.

Тетка Катерина была довольна постояльцами. Семена, как человека в летах, она пустила в свою комнатку, благо Зина спала на печи, а студентов поместила в другой. Спали студенты на полу, на матрацах, набитых соломой, и сон у них был крепкий — сразу не разбудишь. Каждое утро хозяйка варила всем еду. Если к обеду ее не было дома, жильцы сами всем распоряжались.

Подлесовцы присматривались к Семену. О себе он никому ничего не говорил. Захватив бригадира да Ваську Новкина, трактор которого простаивал из-за поломки, он месил грязь по сырому подлесному полю, измерял расстояние между заваленными осушительными канавами и ездил к председателю, который за последний месяц, несмотря на грязь, зачастил в Подлесье. Видно было, что Семен что-то затевал. Подлесовцы следили за ним с недоверием, но выводов пока не делали.

Когда Семен попадал в бригаду, бабы с едкими смешками спрашивали:

— Чего ж ты, Семен, вернулся, аль худо стало в городе?

— По вам, чертям, соскучился...

— Тут-то!

— Вы же здесь как квочки без гнезда.

— Чего ж ты, надолго? Аль погостить?

— Жените — останусь.

Бабы прыскали на манер молодых. А Семен, осмотрев работу, уходил согнувшись, чтобы дождь не попадал за шиворот.

— Чего бежишь-то? — неслоь вслед. — Семен, не сутульсь, иди, погреем!..

Тетка Катерина по субботам и воскресеньям подавала постояльцам соленые грибки к картошке. Эти же студенты жили у нее и прошлой осенью, но она все путала их.

— Ну помните, вы еще сердились на Вовку, белый такой, он еще чугунок разбил! — подсказывал кто-нибудь из студентов.

Хозяйка про чугунок знала хорошо, но кто разбил — не помнила.

Звали ее студенты по имени и отчеству, и ей нравилось с ними разговаривать.

— А много трудодней у вас за это лето?

— Эво, трудодней! А что толку в них? Был бы толк, тогда и разговор другой. . .

— И все босиком ходите, Екатерина Петровна?

— А отчего же? Так-то легче.

Перед сном Семен и студенты вели беседы. Тетка Катерина многого не успевала понять. Улучив минуту, бежала к бабам и сообщала:

— Собирается теперь Семен в район за своими пожитками. . . Вроде бы жить хочет у нас совсем. А одет-то бедно! Что солдат. . . Привез чемодан да солдатскую сумку. В чемодане инструмент, и все. Да книжки. . . И не пьет. . .

— Вчерась председателя ругал, во как! — судачили, качали бабы головами и расходились.

Дни в Подлесах катились, как и всегда, тихо и неспешно. . . И вдруг случилось одно событие.

Однажды в воскресенье тетка Катерина, готовя завтрак, возилась у печи. Студенты спали в другой комнате. Спал и Семен. И вот с печи слезла заспанная Зина и по привычке, не одевшись, стала бродить и мурлыкать. Тетка Катерина хо-

тела усоститить ея, что, мол, люди проснутя и увидят ея в откритую дверь, как вдруг охнула и даже села. . .

— Пухлая! Господи, Зинка, от кого это?

С испугом и изумлением она показала пальцем на Зинкин живот. Та сразу сгорбилась и стала быстро одеваться. Тетка зашипела и заплевалась. Если б не было в избе посторонних, она бы нашла, как выспросить, узнать.

Зина убежала.

Поспешно закончив стряпню, тетка Катерина поскакала к соседке. Там все выложила, и уже в две головы стали гадать — кто виновник.

Сам факт ее мало тревожил. Пришла Михайловна, прибежала, невесть откуда узнав новость, свинарка Пелагея. Зинку не ругали, известное слово — девка! Но кто он? Косой Сэрега? Васька-тракторист?

— В январе ужo разродится, — говорила тетка Катерина, и глаза ее, удивленные и быстрые, беспомощно моргали.

Поохали бабы, повздыхали и наконец по одной отправились в избу Катерины.

Студенты уже ушли. Зина была дома, однако, как ни допытывались, как ни подъезжали к ней бабы, ничего она не сказала. Пришла крестная и тоже просила и грозила, но все напрасно. Зина сидела на лавке растолстевшая, держала на коленях свои маленькие руки и сонными глазами смотрела в пол. Кто соблазнил, кто чего обещал и теперь скрывается — ничего не сказала. Бились, бились вокруг нее бабы и разошлись.

К вечеру все на деревне знали о случившемся и гадали: кто повинен в этом деле? Но опять же

Зину не винили. Вспомнили, что весной ушел в армию Зверьякин Павка, а Новкин Алексей, Васькин брат, приезжал из части на побывку. Но тут же согласились, что никогда не видели их с Зинкой. Студенты же приехали позднее. . .

Так и остались подлесовцы в неведении. А Зина все молчала. Ее молчанию удивлялись и придавали ему какое-то особое значение. Молодые ребята похихикивали вслед. А Зине хоть бы что: ходила работать на скотный двор, вечерами у студентов пела песни — как будто сплетни и разговоры во все ее не касались.

А бабам все больше хотелось знать, кто отец ребенка, чтобы выдать Зинку замуж. На Серегу щурились, но тот только хохотал в лицо.

Васька в разговоры не вступал и думал: «Действительно, кто бы это мог?»

Но так как он был молчаливым, то некоторые бабы все чаще обвиняли его. Однако доказательств не было, а Зинка все молчала, как будто не знала ни лица, ни имени виновника.

Жена бригадира стала подозрительно поглядывать на мужа и ночью старалась подслушать и понять, что он бормочет. Но тот кашлял во сне и шептал что-то о лошадях и трудоднях.

Так прошел месяц, за ним второй. Студенты давно уехали, забыв три пары сапог, фуфайку да еще новый ножик. У Екатерины остался один Семен Сыромятников. Он по-прежнему много работал и зачем-то начал часто бывать в сельсовете. Неизвестно, какими путями узнали подлесовцы, что Семен опять и очень сильно ругался с председателем. Ездил с ним даже в район.

Пелагея, свицарка, рассказывала:

— Маруся-то Федькина говорит: «Он, Семен-то, как хватит кулаком по столу да как крикнет: я, мол, тоже книжицу такую имею, я приехал не кур щипать, а жить. Не мне, а бабам иди крутить мозги!»

— Чего ж это он?

— Электричество, свет хочет провести. Мастер он на все руки.

— И Васька с ним, какое-то дело затевают.

Парни что-то говорили, что-то решали. Ходили к Семену на дом, оттуда к председателю.

Бабы не знали: ворчать им на Семена и парней или хвалить. Может, намутят, намутят, потом Семен-то уедет и все останется по-старому. Стали ждать.

Приезжали на машине важные люди, чего давно не было в Подлесах. Сыромятников с Васькой Новкиным водили их по деревне, по заболоченному полю...

А там побежали резвые дни. Морозец пристукнул грязь, снежок ее прикрыл, и стало светлей и веселей на дворе и в избах. В ноябре снегу уже было много и сугробы росли до окон. В лесу тоже навалило снегу, и оттуда по ночам доносились волчьи голоса.

Однажды ночью, под песни волков, Зина родила мальчика. На другой день вся деревня прибежала смотреть — давно здесь не отмечали такого события. Ребенок был здоровый, тяжелый и кричал очень громко. Успокаивался он только тогда, когда Зина давала ему круглую белую грудь. Мальчик затихал, и мать смотрела на него как-то удивленно и чуть виновато.

Когда Зина бывала дома, тетка Катерина не

подходила к ребенку; когда же оставалась с ним одна, подбегала к малютке, тянула к нему корявые пальцы, трогала пухленькое тельце и охала радостно и счастливо. После этого часто плакала, вспоминая своего сына Митю, умершего во время оккупации.

Семен Сыромятников привез мальчику соску и игрушек на скорое будущее.

В деревне провели электричество. Васька с помощью ватаги подростков, под руководством старшего механика МТС, протянул провода по старым столбам, поставленным лет пять назад. А немного позже, с разрешения председателя, ставшего как-то добрей и вежливей, заняли под клуб избу, что числилась за скотным двором. В этой избе хранили раньше семенное зерно. Теперь зерно перетасили в амбар, который покрыли новой крышей. А баб все не покидало желание найти ребенку отца. Искали в своей деревне и в соседней парней и мужиков, на которых был бы похож мальчик. У Мити — так назвали малыша — были голубенькие глазки, вздернутый носик и еще какие-то приметы, которые непременно перешли от отца. Все напрасно: нигде не попадалось похожих глаз, а это решало все. У Зины они были карие. Только Васька-тракторист походил глазами, но на него не очень метили: все же молод еще, а Зине какой годок? Здесь мужик должен быть!

Однажды тетка Катерина сидела у окна и чесала шерсть. Зашел Васька, поздоровался и сел на лавку. Он последнее время часто заходил к Зине по клубной работе. Митя лежал на Зининой кровати, гукал и не моргая смотрел на тетку Катерину. Тетка подняла голову, посмотрела на

Ваську и чуть не вскрикнула: Митино лицо! И глаза такие же голубые, и нос такой же, с шишечкой. . .

Васька не дождался Зину и ушел. Бабы сразу поверили тетке Катерине, а те, что раньше заметили сходство, стали даже хвастать. Быстро собрались шесть баб, договорились и в тот же вечер привалили к Ваське домой. Самого Васьки дома не оказалось, а мать сначала рассердилась:

— Да что вы, бабы, он малый еще!

Но доводы подействовали, и она задумалась. Васька долго шатается, поздно приходит. А что, если он? Дождались Ваську.

Растерявшегося парнишку уговаривали сознаться и признать себя отцом. Хором хвалили, обещали просить председателя о новой избе. Васька сидел весь красный, утирал пот на лбу кулаком и не знал, куда деваться от стыда. Клялся и божился, что неповинен.

Тогда бабы перешли к угрозам. Вспомнили, что Васька комсомолец, и обещали куда нужно заявить.

— Да вы у нее спросите! — кричал Васька, уже совсем остервенев, не зная, что делать и куда деваться. Стыдно было глядеть в глаза матери.

— Я с ней ни разу и не гулял, у кого хотите спросите! Мам, не трогал я Зинку никогда.

Мать, может, и верила сыну, но молчала. Остальные не отступали. Тогда Васька взял да и выгнал баб из избы.

Мать растерялась.

— Пошто так, Вась, они же по-хорошему. . . А может, это ты, а? . . .

Сын молча полез на печь.

— Васька, напишу братану, — пригрозила мать.

— Пишите хоть черту! — крикнул Васька с печи и затих.

Весь вечер он никуда не ходил. А когда мать ложилась спать, сказал ей, свесив с печки вздохмаченную голову:

— Мам, ты Лешке не пиши, я, честное комсомольское, не виноват ни в чем.

В ответ мать только вздохнула. Брата Васька уважал и боялся. Если мать напишет, тогда пропало обещанное ружье. Брат имел над ним власть даже больше, чем мать, и, когда Васька шалил, она всегда грозила написать Алексею. Впрочем, плохого никогда не писала, потому как и нечего было: младший сын работал хорошо, ее не обижал, ну баловался иногда, так кто ж не балует в его летах!

Бабы ушли от Васьки в полной уверенности, что он отец Мити, и немедленно заварили кашу. Тетка Катерина всех настропала. Были в сельсовете, все сразу, в один голос разговаривали с председателем и с секретарем комсомольской организации — высокого роста девушкой, всегда ходившей в блестящих ботах.

Секретарь удивлялась, сердилась и обещала поговорить с Васькой очень серьезно. Председатель разводил руками, пожимал плечами и ухмылялся. Он был очень доволен: появился случай припугнуть настырного подлесовца, недавно наговорившего ему на собрании кучу дерзостей по поводу клуба, музыки и библиотеки.

Через неделю Ваську вызвали в сельсовет и

строго потребовали объяснения и признания. Васька стоял, смотрел на блестящие черные ботинки девушки-секретаря, с которой он совсем недавно составлял план покупки книг и музыкальных инструментов, и думал, как объяснить при ней проще, что он не отец. А когда заговорил, то обращался все время к председателю.

Так его и отпустили ни с чем.

В тот же день из сельсовета приехали в Подлесье «следователи» во главе с председателем.

Спрашивали Зину. Та молчала, сказала только, что Васька тут ни при чем и чтобы к ней больше не приставали. Сказав так, завернула ребенка и вышла из избы.

Ваську оставили в покое, только стал он сердитым и по вечерам редко ходил в клуб — больше пропадал в мастерских МТС.

Пришла весна. Перед пахотой Семен снова ездил в район, привозил каких-то руководителей, месил с ними грязь вокруг Подлеса. Пока тракторы пахали землю на самых высоких, сухих местах, в низинах рыли канавы. Семен сам разбил поле на участки, так что расстояние между канавами стало не шестьдесят метров, как было раньше, а вполовину меньше. Вода быстро сошла. В эту весну на полянах ничего не сеяли, оставив землю под корма. «Лучше меньше посеять, да лучше».

Осушили картофельное поле, пробороздив его восемь раз канавокопателем. От помощи городских людей подлесовцы отказались. Жизнь в деревне становилась шире.

Подлесовцы уже не косились на Семена — свой мужик.

Весной Зина похудела, стала задумчивой, ти-

хой. Случалось, она даже не работала, а просто слонялась по скотному двору или бродила по комнате, глядя в потолок, оклеенный газетами. Надоест — отойдет к окну, вздохнет. Если Митя проснется, подойдет к нему, долго глядит на него и опять вздыхает. У тетки Катерины под сердцем колело от этих вздохов.

Весна всех порадовала, а Зину обошла. Весна в этом году будто давила на Зинины плечи шумом воды, теплом яркого солнца. Семен посоветовал ей поработать в новой библиотеке, которая хоть и была еще мала, но уже требовала хозяйского глаза. Зина согласилась. После скотного двора бежала домой, кормила сына, а потом спешила в библиотеку.

К концу мая вернулся домой навсегда Алексей Новкин. Сидел в избе такой красивый; голубые глаза его весело смотрели на мать, а та и не знала, чем угодить сыну. Васька съездил в соседнюю деревню, купил две бутылки водки. В избе праздновали.

Мать рассказала про Зинку и ее ребенка. Алексей слушал внимательно, смеялся и спрашивал младшего брата:

— Так и не сказала кто?

— Никому. Так и не знаем.

— Здорово! Ну, брат, чуть не окружили тебя! — и он хохотал сочным басом.

В тот же день, под вечер, Алексей почистил сапоги, накинул на плечи шинель и зашагал на другой конец деревни.

Промелькнуло лето. Подкралась осень. Началась уборка. Хотя и убрали подлесовцы хлеб своими силами, но с картошкой все-таки не управились. Снова приехали студенты. На этот раз другие. Двоих бригадир направил в избу тетки Катерины. Там их встретила молодая женщина и показала, где они могут разместиться.

На кровати шевелился голый ребенок, с любопытством смотря на вошедших голубыми глазками, и водил по одеялу толстой ручкой.

Вечером в этой избе веселый голубоглазый человек в военной гимнастерке гудел басом:

— Подсобите — спасибо... А на тот год уж сами управимся...

А тетка Катерина корявыми пальцами строила мальцу козу и говорила:

— Управимся небось, да и мужиков — вот второй в хате растет, слава тебе господи!

ВСЯКОМУ СВОЕ ВРЕМЯ



прошлом, пятьдесят пятом году, в июле месяце, я сидел в прорабской и смотрел чертежи нового цеха.

В десятом часу дверь распадается и вбегает табельщица Тоня.

— Иван Федорыч, вас вызывает начальник!

— Зачем? — спросил я.

— А почему мне знать? Сказал, чтобы сейчас пришли, да обязательно, а зачем — не знаю.

Дверь захлопнулась, и Тоня исчезла. Я сложил чертежи в стол, надел кепку и вышел.

Строили мы тогда печной цех цементного завода. Мастером у меня работал молодой инженер, только что вылупившийся из института. Позвал я его, сказал, что ухожу, и отправился.

До конторы нужно было идти километра три. Город всего год как строился, дорог хороших еще не было. Пробираясь по жидкой глине, я думал о причине вызова. Последнее время аварий у меня никаких не было, пьянства не замечалось. А по утрам начальник редко требовал к себе. Зайдя к нему, я снял кепку, поздоровался и спросил:

— Вы меня вызывали, Николай Иванович?

— Да, вызывал, — сказал он, отодвигая бумаги, которые подписывал, — поедешь в деревню, Кибиткин. Постановили вчера на бюро — построить нашим участком два коровника в колхозе «Ударник». От Кедринска это недалеко, всего километров тридцать. Завтра же собирайся — и в путь. Вначале узнай, как там с лесом. Может, людей на месте наберешь, чтобы отсюда не командировать... Человек ты пожилой, в деревне бывал. Как утрясешь все, так мы тебя заберем сюда, а туда пошлем кого-нибудь из молодых холостяков.

Мы побеседовали минут десять, и я вышел. В производственном отделе просмотрел договор с колхозом, чертежи коровника и подался на свой объект. По пути заглянул домой и сказал жене, чтобы сумку с едой приготовила.

— Куда опять? — спросила жена.

Я объяснил.

— Ты как овца безответная, — сказала она, — ведь уже старый, а все соглашаешься болтаться по командировкам. Так и норовишь от дома и от детей убежать!

Прикрикнул я на нее и закрыл за собой дверь. Конечно, годы мои не те, чтобы путешествовать, но работа есть работа. К тому же на участке нашем мастерами да прорабами были сплошь моло-

дые инженеры, с которыми покуда договоришься — сто раз выругаешься, не понимают они, что в работе напролом ничего не сделаешь.

В прорабской я рассказал мастеру новость и отправился отдыхать.

Утром следующего дня я уже шагал по дороге к Александровским Концам. За Александровскими Концами нужно было свернуть влево, миновать известковый заводик, а дальше идти все лесом и лесом. Места мне были знакомые, я не спешил, а когда оставил позади и печи завода, то зашагал совсем не спеша. «Часам к четырем доковыляю, — думал я, — и то хорошо».

На боку у меня сумка с завтраком, за плечом ружье. У последней развилки передохнул, покурил и, как говорится, повесив солнце на правое ухо, чтобы не сбиться с направления, двинул напрямик через лес. Иду. Воздух чистый, прохладный. Пахнет смолой. Тихо. Эта тишина показалась мне приятной и странной. Каждый день проходил у меня среди рычания машин, экскаваторов, в постоянной спешке, а здесь спокойно, как в приятном сне.

Природа в этих местах — не то что, скажем, в центральной части России. Там она как красивая капризная девка: бывает неприветлива, но минута прошла — ей уже плясать, а через час еще чего-нибудь в голову взбредет. Бывало, продираешься лесом, вдруг неожиданно лес обрывается — и попадешь в хлебное поле с золотистыми, бегущими одна за одной волнами. За этим морем, на бугре, деревня. Хаты садами окутаны, как клубами

дыма. Там вон овраг, кусты. За оврагом трактор ползет к горизонту. В небе коршуны кружатся, как щепки в тихом омуте. Прошагал в сторону — река. Ребятишки барахтаются. Стадо пригнали на водопой. Ниже по реке поодаль от берега торчит заводская труба, а ближе сюда, в осоке, бабы и девки визжат на мели...

Тут же везде все одинаковое: сосна, ель. Вот осина стоит, дрожит вся, будто в ознобе. Иногда попадается куст малины или смородины. По левую руку, у самой дороги, появилось болото. Оно все покрыто рыжей травой, и только на середине виднеется темным пятном чистая вода. Иной раз за деревьями забренчат колокольчики — это стадо коров пасется. Лопнет и раскатится по лесу ружейный выстрел. Где-то урчит трактор. А где? Что он делает? То ли пни корчует, то ли пашет — не видно. Лес вокруг тебя. Впереди узкая дорога скрывается за кустом, но ты знаешь, что через пятьдесят и сто метров она будет такая же, как и сейчас у тебя перед глазами. Иной раз захлопают крылья в траве. Совсем рядом, чуть ли не под ногами, замечется туда-сюда серый комок, оторвется от земли, пролетит над дорогой перед тобой, взмоет вверх и, распластав короткие крылья, нырнет в макушки деревьев.

Наконец лес обрывается. Видна изгородь из жердей: в землю вбиты колья, к ним лыком привязаны жерди. За изгородью либо рожь, либо овес. Значит, скоро деревня. А вот и она — тридцать примерно бревенчатых изб, покрытых седой дранкой.

В одной избе через окошко смотрят ребятишки. Они глядят на тебя как на чудо, — глаза широко-

широко раскрыты. Так и проследят, пока не скроешься... Идешь дальше. Около избы сидит старуха, что-то чинит, рядом ползает ребеночек. Он привязан веревочкой к ноге старухи, и когда ты подходишь, садится, сует палец в рот и смотрит на тебя.

— Бабушка, воды можно попить у вас?

— Да можно-то можно, желанный. Иди вон в избу да попей. Я, вишь, с внучонком сижу на привязи.

— А что же в деревне никого не видно?

— А ныне все на сенокосе, желанный... День-то, вишь, разгулялся. Третьего дни дождь мочил, а сейчас вон как. Все с утра на поляны уехали.

Попил воды и дальше зашагал...

К четырем часам я добрался до Вязевки, в которой находится правление колхоза. Разыскав правление, я увидел на дверях его замок. Оглянувшись и никого не заметив, я присел на порожек и закурил, решив дождаться возвращения людей с работы. Не просидел я и полчаса, как увидел всадника. Он подъехал к правлению, соскочил на землю и взбежал на крыльцо.

— Не скажете, где можно поймать председателя? — спросил я, мельком оглядывая клетчатую рубашку, сильную, загорелую шею и черные волосы, в которых запутались ниточки сена.

— А зачем он вам?

Я пояснил.

— Так его и ловить не нужно — вот он я, — засмеялся парень.

Мы прошли в правление.

Председатель достал какие-то бумаги, сунул их в карман и попросил меня подождать немного,

так как ему нужно срочно ехать на почту, чтобы передать сведения в район.

— А пока отдохните у меня в избе, пойдемте, я вас провожу. . .

Вскоре он вернулся с почты, и мы разговорились. Вопрос о строевом лесе решили быстро, лес был заготовлен еще зимой, часть его вывезена к дороге. Пилорама, хоть и с перебоями, но работает.

— Как с песком? — спросил я.

— Песок есть, у озера бабы берут — желтый крупный песок.

— А с людьми? Можно ли здесь из местных набрать бригады две, чтобы из города не присылать?

Он задумался.

— Нет, Иван Федорыч, с людьми туго. Сейчас время жаркое — сенокос. У нас самих не хватает людей.

Покуда разговаривали, вернулась с поля жена председателя. Принесла от соседки ребеночка, усадила его в кроватку и завозилась у печи. Подавая на стол обед, сказала:

— Слушай, Николай, а что, если семеркинских смануть на строительство? Так мы их никак не вытащим, а на стройке молодые могут задержаться. Вы же по нарядам будете им платить? — спросила она меня.

— Конечно, по нарядам.

— Ну вот, — повернулась она к мужу, — в таком случае молодые и без стариков первое время проживут. А там и осядут у нас в Вязевке.

— А в чем дело? — спросил я.

Председатель рассказал: в настоящее время в

колхозе восемь бригад. То есть восемь деревень, которые сидят в лесу друг от друга километрах в двух-трех. Самая большая деревня — Вязевка, сто сорок три избы. Все остальные деревни расположены поблизости, в одной стороне, только две маленькие деревушки — километрах в пятнадцати от Вязевки, за Симскими болотами. Одна из них, Семеркино, состоит из семи изб, а вторая, Тутушино, — из пятнадцати. По бумагам обе деревни входят в колхоз «Ударник». До войны их и не трогали. То есть знали об их существовании, люди были переписаны, налог платили и все прочее. Но общему хозяйству толку от них было мало. После войны решали несколько раз на правлении колхоза: семеркинских и тутушинских переселить из-за болота ближе к Вязевке. Старики там крепкие, молодежь растет — учиться в школе нужно. Но заболотские старики все староверы, неграмотные и ни в какую не соглашаются. Как кто из молодых подрастет — уходит служить в армию, а после армии уже не едет обратно и остается в городе. Прежний председатель смотрел на эти деревеньки сквозь пальцы по простой причине: семеркинцы откупались. Председатель пил крепко. И между ним и заболотскими людьми состоялось неписаное соглашение, по которому председатель в любое время года и суток мог заявиться, скажем, к семеркинцам и напиться у них браги сколько влезет. В свою очередь председатель в районе говорил, что с этими людьми ничего не поделаешь, никакими уговорами их из болота не вытащить. И так длилось их соглашение лет десять, покуда председатель не помер. Затем частая смена председателей не давала возможности заняться семер-

кинцами, а может, просто руки не доходили до них, и жили они по-прежнему. Заболотские делали кой-какую работу для общего хозяйства. Например, заказывали им сани. Деда приходили бригадой, делали что надо и уходили. Но все это от случая к случаю, как будто они чужие люди. Еще отделяет их то, что все они из чужих мисок не едят, курить не курят, старики даже не пьют при людях, а только у себя дома. И такое дело: если бы там жили одни старики, то бог с ними, пусть живут себе доживают. Но там есть и молодые. В школу ходить им далеко, а старики против всякой учебы, так что молодые растут, как хочется старикам: кое-кто молится, девчата пугливые, ребята подозрительные. Ведут хозяйство при доме, дерут лыко, плетут корзины. Вязевских они называют мирскими, презирают их. Эти же в свою очередь платят тем же. И вот если бы кто из молодых и перебрался в Вязевку, где он будет жить? Каково молодому в чужой семье?

Председатель много раз ездил в Семеркино уговаривать. Правление колхоза не раз выносило постановления — перевезти избы к Вязевке. Но для заболотских решения и постановления — пустой звук. Уперлись и ни с места.

«Вот пометим тут, тогда и перевозите избы», — один ответ.

Теперь же колхоз строит два коровника, плотину хотят поставить на ручье. Как вода будет — уток разведут. Людей много надо.

— А тут еще, — говорил председатель, — молодежь калечат. Там же и колдовство, и черт знает что... Есть там старуха одна. Прозвали ее Горе неутешное. Так она как заведет песню о житье —

не только ребяташки, а и взрослый человек черт знает о чем начнёт думать... А девчата там хорошие есть. И убежать бы рады, да куда их пристроить? У вас какие заработки?

Я рассказал.

— Ну вот видите, — сказала жена председателя, — значит, у тех, кто придет сюда, будет возможность жить совсем неплохо.

Пробеседовали мы весь вечер. Хозяева рассказали мне кучу историй, связанных с этими лесными людьми, и мы наконец договорились: шуму особого не поднимать, чтобы старики не всполошились, председатель будет как бы в стороне, а я схожу к семеркинцам.

— Нам обоим выгодно, — говорил председатель, уже лежа в кровати, — мне хозяйство поднять, молодых перетащить, а вам — рабочие будут, и не нужно никого везти из Кедринска.

Поутру мы наскоро позавтракали и вышли во двор. Председательша оседлала кобылу и ускакала с зоотехником в какую-то Змеевку. Мы с председателем сходили за деревню к ручью, осмотрели место для застройки. Показал он, где мечтает отсыпать плотину. Я проверил качество песка. Уже солнце поднялось высоко, когда председатель уехал на поляны, а я взял ружье и отправился в Семеркино.

День опять выдался солнечный. Покуда я шел открытым местом — распарился, но едва вошел в лес, стало хорошо. Шагал долго и вроде по тому пути, как пояснили мне: попалась скамеечка — два пенька, а на них изъеденная временем доска.

Оставил по правую руку старую корявую березу. Пересек большую поляну, на которой косили траву на середине косилкой, а по краям, где кусты, вручную, косами. За поляной лес гуще сделался. Начало вечереть. Около двух толстых осин дорога круто свернула и неожиданно юркнула в болото. Я потоптался, оглядываясь, и повернул назад. Пройдя немного в обратном направлении, заметил тропинку, ведущую в сторону, свернул по ней. И вскоре увидел изгородь. «Ну вот и деревня», — подумал я. Но когда пролез под изгородь, то понял, что это не деревня, а просто поляна, а на ней остатки стожков прошлогоднего сена. Такие поляны огораживают, чтобы зимой лоси не пользовались сеном.

Я пересек поляну, снова перелез через изгородь и зашагал наугад, надеясь попасть на тропинку или натолкнуться на стадо. Так брел долго, но ни тропинки, ни живой души не встретил. Потом я побежал, уперся в низенький, очень густой ельник. Обойдя его, вроде почувствовал под ногами твердую почву, но следов никаких не обнаружил. А солнце уже на одних только макушках играет. Посмотрел на часы — восьмой час. И обратно не знаю, как выбираться. Хотел было уже отыскать место, где побольше валежника, и заночевать, как услышал поющий чисто и звонко женский голос.

Я круто свернул и поспешил на этот голос. Пробежал всего метров двадцать, как очутился на дороге, и увидел босую девушку в вязаном сером платье. Ее белые густые волосы были собраны комком на затылке. На плече она держала деревянные грабли.

— Скажи, красавица, куда я попал? — спросил я, взглядываясь в нее.

— Тут деревня Семеркино, — ответила она, хитро улыбаясь, — а подальше Тутошино.

— А где же дорога на Кедринск? Эта, что ли? Она засмеялась:

— Так это вы дорогу на Кедринск искали? Не-е-т! Чтобы в Кедринск попасть, нужно вначале до Вязевки дойти, там и дорога. Либо через болото, но на болоте вы заблудитесь.

Мы пошли рядом.

— Вы охотник? — спросила она.

— Охотник.

— Чего же вы ничего не убили? Весь день пробродили, вон и ночь уже из лесу ползет...

— Так, не попалось, — развел я руками, — вот, может, завтра подстрелю что-нибудь. А сегодня с обеда все дорогу искал. И стрелять некогда было. Что за странное название — Семеркино?

— Семь изб — вот и Семеркино.

Дорога вывела нас из леса, и я увидел деревушку: три избы по одну сторону дороги, три по другую, а одна на отшибе, без сарая и неогороженная. В ней, должно быть, никто не жил. На противоположном конце дороги появилось маленькое стадо коров и телят. Два пастуха, которым было лет по двенадцать, разогнали кнутами скотину по дворам. В избах зажигались огни.

— Где бы мне переночевать? — спросил я.

— А идите к нам, — ответила девушка, — у нас изба большая. Вот во второй избе мы живем, пойдемте.

В избе стоял полумрак. Налево у стены я увидел залавок, над ним полка с посудой, банками.

Направо, у самой двери, кадушка. Над кадушкой висит на цепочке глиняный горшок с носиком — это рукомойник. Русская печь. Лавки. У окна стол. На столе горела керосиновая лампа, а возле стола сидел древний старик с белой густой бородой и такими же волосами на крупной голове. Перед ним лежал ворох сухой коры, и старик вязал эту кору в пучки.

Я поздоровался: Старик даже головы не поднял и продолжал перебирать кору своими длинными, тонкими пальцами. Когда же я присел, он взглянул на меня, кивнул и продолжал свое занятие. Девушка взяла мое ружье, поставила его в угол и убежала во двор.

— Решил у вас переночевать, — сказал я старику.

Он перебил:

— Что ж, поди, без собаки ходил по лесу?

— Без собаки.

— Или с собакой?

Я повторил, что без собаки.

Вбежала девушка и, заметив, что мы переговариваемся, сказала:

— Вы его не слушайте — он глухой совсем. Вечно болтает, — добавила она, садясь на лавку.

Вязаное платье было узко ей и местами на плечах порвано. Не обращая больше внимания на деда, качая ногами и держась пальцами за доску лавки, девушка смотрела на стену, поглядывала на меня. При этом лицо ее было беспокойно. Оно то вспыхивало от какой-то мелькнувшей мысли, то вдруг делалось на секунду задумчивым и даже грустным и разом снова вспыхивало.

— Как тебя звать? — спросил я ее.

— Настя, — ответила она.

Вошла высокая пожилая женщина с полным подойником в руках. Проговорила «вечер добрый вам» и принялась процеживать молоко через марлю. Лицо у женщины было сухое и строгое. Волосы уже седые, но видно, что баба еще сильная и своенравная. Видимо, Настя уже доложила ей обо мне.

Процедив молоко, женщина подозрительно посмотрела на меня и спросила:

— Что ж ты — и не суббота, не воскресенье, а с ружьем таскаешься по лесу?

Я сказал, что у меня отпуск.

Старик закончил вязать пучки и поднялся на ноги. Едва не задевая головой потолок, он развешил готовые пучки на гвоздях по стене и снова сел.

Хозяйка подала на стол молоко в стеклянных банках. Настя достала из залавка ржаных калиток, хлеб и, положив все на стол, вернулась на прежнее место. Старик налил молока в тарелку, крошил туда хлеба, подавил ложкой и стал есть.

— А ты чего не ужинаешь, певунья? — спросил я Настю.

Она только чаще заболтала ногами, а женщина ответила недовольно:

— Успеет еще... небось уже раз десять прикладывалась.

Выпив молоко, я встал.

— Может, щей похлебаешь мясных? — спросила женщина.

— Нет, спасибо, не хочется.

— Да и то, — согласилась она, — погода ноне жаркая. Тут хоть и работай день либо бегай по лесу, а есть не захочешь. Одну воду и тянет пить. Что ж ты — в избе ляжешь?

Я сказал, что лучше бы где-нибудь на сене.

— Ну тогда полезай на хлев. Настенька, снесика туда одеяло да подушку, — опять строго приказала она девушке.

— Дочка ваша? — спросил я, когда Настя скрылась за дверью.

— Дочка.

Через минуту я лежал на сене. От дневного перехода ноги ломило, но спать не хотелось. Где-то рядом в темноте скандалили на шестке куры. Внизу тяжело дышала корова, чавкал во сне поросяенок. На улице перекликнулись женские голоса. Кто-то засмеялся. Но вот постепенно звуки стали доноситься реже, и наконец все затихло. Глаза мои закрылись, и я, наверное, уснул бы, но услышал шуршанье босых ног и приподнял голову. Слабо скрипнула дверь. Кто-то выбежал во двор. Что-то прощуршало в траве у самых стен сарая. Снова осторожно скрипнула дверь, наступила тишина, и тотчас донесся неясный шепот. Я прислушался. Шептались два девичьих голоса. Один из них принадлежал Насте.

— Первый-то раз пробежал он мимо, я и внимания не обратила, — сообщала она, — только смотрю — он опять бежит, и тем же местом. Может, думаю, потерял что. Прошло время, догребала я пожню, а он снова бежит. Да пригинается, будто нюхает землю, как гончая. Я и догадалась — заблудился дяденька. А дорога-то совсем близко!

Настя засмеялась.

— Это еще ничего, — заговорил тихо второй голос, — а помнишь, в прошлом году тоже кедринский мужик в болоте двое ночей сидел. Если бы не дедко наш, то глядишь — и пропал бы. Как вытянули его, ноги все в пиявках, а сам синий-синий, как жила. С неделю у нас лежал, покуда ходить начал.

— Он сколь раз вам подарков приносил?

— А как бывает здесь, так и заходит всегда. Прошлую субботу дедке сапоги принес, а мне вот ту материю. Ты видела?

— Видела... А этот говорит — охотник я. А мать не верит. Да и что: где же охотник, когда ни сумки, ни патронов нету...

Добравшись в потемках до лестницы, я слез с чердака и подсел к подружкам.

— А я все слышал, — сказал я, — чего же ты меня, старика, сразу не окликнула, когда я бегал?

Обе засмеялись.

— Настенька! — послышался голос суровой хозяйки.

— Ой, уже кричит! — проговорила Настя, топнув ножкой. — Еще посидим! — шепнула она подружке, и обе упорхнули со двора.

Из избы вышла хозяйка. Поглядела в темноту ночи и присела рядом.

— Ты чего не спишь? — спросила она.

— Не хочется что-то.

Помолчали.

Хозяйка подперла кулаком подбородок и сидела неподвижно.

— Сенокос далеко у вас? — спросил я.

Она сразу не ответила и даже не шевельну-

лась. Затем опустила руку на колени, вздохнула:

— Вот и день, слава богу, промелькнул... Сенокос-то? А везде сенокос. По всему лесу. Нашел поляну и коси... Теперь-то вон председатель наш говорит, чтоб дальше ручья не ходили. Однако куда ему! Прижимает нас. Думает: застрашает — мы и переберемся в Вязевку. А не будет этого. Леса вон сколько!

— Чего же он так?

— Чего же он так... Мозоль у него на веке наше Семеркино... Избы хотел было перенести, да не вышло. Законом путал, а как господь велел поставить их тут, так и закон мирской не в силах что изменить — место их постоянно... И так у людей душа грехов полна.

— А что, и у тебя есть грехи? — спросил я.

— А я святая, что ли? Поди, молодой была, тоже погрешила. Теперь и замаливать нужно. Бог и так испытаний посылал-посылал и допосылался, что одна с девкой осталась. Прости, господи, душу за жалобу.

Хозяйка перекрестилась.

— У меня, видишь ли, — продолжала она, — двенадцать сыновей и дочерей было, а осталось в живых только трое. Вот Настька со мной, Верка у вас в Кедринске живет, за плотником была вышедцы пятый год туда назад. Да младший сын Николай... Он теперь далеко у хохлов живет, на заводе работает. А остальные поумерли — бог прибрал, другие на войне попропали. Мужик шесть лет назад помер. Царство ему небесное... А я вот осталась. Всего-то и делов теперь перед богом — дочь свою беречь.

— Сколько Насте лет?

— Да сколько... Вот, гляди: на пятидесятом году я ее родила, а теперь уже на четвертый день Успенья мне шестьдесят семь и будет... Это сколько ж?

— Семнадцать.

— Ну так... И не знаю, что с ней станется. Кругом один соблазн. Начальство пошло въедливое. Покойный председатель Степан Степаныч богу не перечил, и жили мы сами себе...

— Что ж с ним стало? — спросил я.

— С председателем? Да так... захворал и помер. Ноне начальство тормозит. Я Настьку и от школы прятала, да разве по нынешнему времени убережешь? Вон и Верка была — девка что надо, куда послушней этой. Глядь, бывало, как стемнеет — она уже дома. Сейчас в Кедринске живет. Разве уследишь. У белеевского председателя птичник ставили. Работали кедринские люди. И где они могли встретиться? Только смотрю, Верка пухнет. А там и он заявился. Выгнала, так она убежала к нему. В Кедринске теперь жилье имеют. А грешат-то, господи, в непросветную. Последний раз побывала у них в гостях и набралась греха. Вишь ли, бал решили устроить. Ну и устроили. Как ни звали меня к столу — не пошла. Легла в постель и лежу. Лежу и думаю: вот сейчас кончат да разойдутся с богом. А они нет: ночь на другую половину перевалила, а они песни орут. Каково мне? Терпела я, терпела, перекрестилась, встала с кровати, поклон отдала в угол и к ним прямо в одной рубашке. Стала в дверях, крест положила и говорю: «Что ж вы, бесстыжие, делаете? — так прямо и говорю им. — Ты, Верка,

бога совсем забыла. А мне, матери, перед ним за тебя ответ держать. Сейчас же кончайте и спать ложитесь!» Они и опешили. Мужик ее, Васька Данилин, меня под руки взял, отвел до кровати и ничего, нехристь, грубого не сказал. Разошлись. А наутро войну и подняли. В оба голоса кричат, будто я их позорю. Васька того пуще, а моя дура и не останавливает его... Рассердилась я и сказала им: «Отдайте мне тогда внучка, и уйду я, а вы грех творите, и перед богом я за вас не отвечаю». Поклонилась так и отвернулась. Куда ж там! Отдадут! Ушла я сюда и вот второй год с той поры ни шагу к ним.

— А они в гости приезжают?

— Приезжают.

Грозная хозяйка провела рукой по глазам и продолжала:

— Коленька, что у хохлов, тоже женивши. Все обещает приехать, да никак, говорит, отпуску не дают. Должно, важный стал. Деньги в каждом месяце присылает. Как третья неделя, так иду на почту в Вязевку и получаю. Настьке все коплю. Сейчас ей, дура, не говорю, сколько сберегла, а то узнает — сбежит с ними... Они же теперь, девки, как мотыльки на огонь, бегут на город. А што там? Пусти ее, кинется и обожжется... Ох, горе неутешное, — вздохнула она, — теперь же вот и тут у нас... Председатель новый поначалу грозился и часовенку нашу разнести в щепы, коли не переберемся отсюда. Молод да горяч, а бог видит — руку и отвел, не тронул... Вишь ли — запруду хочет ставить. Мы все знаем. А не поставить ему ни в жизнь: он хочет воду поднять и затопить камень Фрола-мученика. А не сделать этого!

Хозяйка замолчала. В хлеву поднялась на ноги корова и, шаркнув рогом по стене, брякнула колокольчиком.

Женщина пошарила у стены рукой, взяла там палку и встала.

— Настыка! Настыка! — прокричала она сильным голосом.

Из темноты появилась фигурка девушки. Ни слова не сказав, она юркнула в избу. Хозяйка стояла и, подойдя снова, присела.

— Вот и ночью не могу уснуть, — сказала она, — так и хожу около избы. Сон не идет... С девкой знаю, как поступить. Не удержать ее по хорошему, возьму грех на душу, ради нее же самой. Сейчас берегу, а вот вернется с сенокосу Воронин Васька, он с дедом ночует в лесу, так и отпущу ее, дам волю. Васька молод, но чего ж искать. Ох, горюшко неутешное! За что же ты, господи, напасть посылаешь, — неожиданно запримечала хозяйка визгливо и вдруг заплакала, — уж что где-то там на войне побило, то уж у всех такое, а средний сынок, Феденька, пошел в лес лыко драть, а гад его и укусил. Феденька и до воды быстро добег, окунул руку, но, видно, гад этот ближе воду нашел и нырнул туда. Только приходит Федя в избу, а рука уж отнялась. Прилег он, и через день вся половина тела белого посинела и распухла. Господи! Уж что ни делали! И колдунью звали, и в керосине держали руку — ничего не помогло. Только пришла Аннушка с могильного хутора, да и сказала: «Раз уж так, в воду руку окунал, да не погиб гад, то нужно его скорее убить. Он же непременно сейчас на том самом месте сидит, где ужалил Федю». Побежали туда.

Смотрим, на самом деле — дерево окружил собой и лежит, голову поднявши. Толстенный, а голова так и дрожит. Никита, мой брат, мигом отсек ему голову палкой. Только приходим домой, а Феденька уже помер. Опоздали, значит. . .

Хозяйка замолчала. Всхлипнув несколько раз, поднялась.

— Ну, покойной тебе ночи, — сказала уже прежним строгим тоном и ушла в избу.

«До чего же темная старуха, — подумал я. — Если она успела набить всякой чепухой голову Насте, то с девкой можно и не разговаривать — толку мало будет. С другими поговорить? Но где их найти?»

Было совсем тихо. Я покурил в одиночестве, забрался на чердак, подумав, что завтра надо бы проснуться пораньше, и уснул, едва коснувшись головой подушки.

Когда проснулся и посмотрел время, шел уже одиннадцатый час. Торопливо спустился в избу, но там никого не застал. На столе лежал хлеб и стояли банки с молоком. Я позавтракал, положил на стол десять рублей и вышел, закрыв за собой плотно дверь.

«Где же найти Настю? — думал я, оглядывая пустой двор. — Как это мне угораздило проспать?»

Посмотрел в огород и заглянул в хлев.

— Что же вы не взяли ружье? — услышал я позади себя голос.

Оглянувшись, увидел Настю и с ней двух подружек, ее лет.

— Вот хорошо, что напомнила, — сказал я, — ты чего же не разбудила меня?

— А зачем вас будить. Вы вот и сами проснулись, а набегаться по лесу еще успеете.

Она сходила в избу и принесла ружье.

— Спасибо, Настя, — сказал я. — Где уже побывала?

— Вы вчера в Вязевке ведь были? — спросила она.

— А ты откуда знаешь?

— Да знаю. Правда, что там будут строить скотники?

— Правда. Где твоя мать?

— Они все в лесу, а мы убежали.

Присев на порожке, я заговорил о строительстве и сказал, что если они придут на работу, то им дадут сразу же авансом денег. В Вязевке они поселятся в избах и будут жить там.

Девушки выслушали и недоверчиво переглянулись.

— Только, девчата, старикам ни ту-гу, — посоветовал я, — потихоньку приходите, а я там скажу, чтоб ждали вас.

— А не обманут?

— А вот посмотрите.

Они проводили меня до леса, указали, как идти, и я отправился в Вязевку, не сказав им больше ни слова: молодым чем меньше долбишь в голову и обещаешь — тем лучше.

Когда возвратился в Вязевку, поспешил в правление к председателю.

— Ну как? — встретил он.

Я рассказал подробно, где ночевал и кого познакомил.

— Так это вы у самой Горе неутешные были! — сказал он. — Ну как старуха?

— Ничего.

— Хорошо, что охотником назвались, а то бы палкой выгнала, — засмеялся председатель, — а Настя чего-нибудь натворит! Она девка бойкая.

Прошел день. За ним второй. Из Кедринска приехали две бригады рабочих с инструментами.

Покуда держалась дорога, возили материалы.

Рабочих я расселил по избам, сам остался жить у председателя. Ни из Семеркина, ни из Тутошина люди не приходили.

— Видно, пустая затея, — говорил председатель, — проболтались девчата, старухи их и пресекли.

Однажды в обеденный перерыв я сидел за столом в избе председателя и просматривал табель в ожидании обеда. В сенях слышалась какая-то возня, и кто-то тихо постучал в дверь. Председательша вышла на стук.

— Начальник дома? — услышал я девичий голос.

— Дома, проходите.

Вошли шесть девушек и остановились у стенки, робко озираясь. Среди них я увидел Настю.

— Ну чего же вы там стоите, — сказал я, — ну-ка, Настя, веди сюда поближе свой отряд! А ну смелей!

— Мы на работу прибежали, — проговорила Настя, подойдя к столу.

— На работу так на работу, чего ж вы, как козы дикие, жметесь к стенке?

— Девки, идите, — приказала Настя.

Все шесть девушек подошли к столу.

— Пишите заявления, — сказал я, — вот вам бумага и чернила. Садитесь и пишите.

Девушки зашептались.

— Пиши ты, Настька... За всех пиши...

Денег у меня с собой было маловато, я отозвал председательшу в другую комнату, попросил у нее денег взаймы. Затем составил для порядка ведомость, выдал девушкам аванс на первые дни, и они расписались.

— Ну что же? — спросил я, когда утрясли вопрос с жильем. — Почему вас мало?

— Да боялись разом. Может быть, и не приняли бы, — ответила Настя.

За правлением стояла пустая, заколоченная изба, хозяин которой уже давно перебрался в Кедринск. Мои плотники расколотили двери. К вечеру застеклили окна, и вся новая бригада поселилась в этой избе.

А рано утром следующего дня к избе председателя подошли пять человек новых — ребят и девушек.

— Доконали мы все-таки семеркинцев, — весело говорил председатель, — а старики пусть теперь там сидят хоть до второго пришествия.

Дни стояли хорошие. Работа двигалась полным ходом. Однажды начальник сообщил мне по телефону, что я могу вернуться в Кедринск, что сюда вместо меня он посылает молодого и холостого. Выслушав начальника, я отправился в правление утрясти вопрос, как оплачивать сделанную работу. А когда я вышел из правления, меня догнала Настя и уцепилась за рукав.

— Что такое, Настя? — спросил я, глядя на побелевшее, испуганное лицо девушки.

— Мать пришла! — выдохнула она.

— Ну, иди в правление и сиди там, — сказал я и вместе с бухгалтером поспешил к стройке.

Не доходя метров двадцать до того места, где были вырыты ямки под столбы и плотники шкурили бревна, я увидел семеркинскую строгую хозяйку. На ней была длинная, до самых пят, черная юбка. На голове и плечах черный большой платок. В руках она держала палку.

Мы подошли ближе.

— Ну что, Матрена, пришла, — сказал бухгалтер, — от себя гонишь, а к нам заявилась?

Старуха даже головы не повернула. Я отметил, что лицом она постарела, худая стала. Бухгалтер хотел было ее турнуть, но я взял его за плечи.

— Не нужно, Ильич, не трогай, пусть постоит, лишь бы не скандалила, — попросил я.

— Что, бабушка, замуж хочешь? — крикнул кто-то из моих рабочих.

Я погрозил пальцем.

Потом я обмерил привезенные накануне бревна, указал плотникам, где тамбуры будут. Черная старуха все стояла, смотрела в одну точку и беззвучно шевелила губами.

Постояла она с полчаса. Затем стукнула палкой в землю, повернулась и широкими шагами пошла к лесу.

Я смотрел вслед старухе, и мне стало жалко ее. Но что поделаешь — всякому свое время.

ФЕДОРЫЧ

1



Федорыч и Картавин жили мирно. Спорили только, когда разговор касался общих тем. Обычно спор заканчивал Федорыч:

— погоди, погоди, поживешь — узнаешь. Хвост тебе подрубят, — предсказывал он.

Федорычу тогда было пятьдесят девять лет. Картавину двадцать четыре года. Федорыч уже работал старшим прорабом на строительстве, а Картавин — только мастером. Федорыч утверждал, что верить на слово никому нельзя. Картавин говорил обратное — доверять надо больше. Старший прораб возмущался:

— Брось эти мысли, Борис, иначе шею сломаешь! — кричал он, тряся припухшими желтыми

щеками. — Не верь никому! Себе не верь! Сказал: пять метров, хватайся за голову и лезь в чертеж, проверяй: а так ли? Пять ли тут метров? Языком нагородить знаешь сколько можно? Эге! Я тебе тоже намолоть могу до самого неба. Так-то. На все требуй бумажку и роспись. Да еще ее, окаянную, печатью хлопни.

Сыпались примеры из жизни. Строил он двенадцать лет назад молокозавод под Вологдой. Представитель заказчика был мужик хороший: и выпивал Федорыч с ним иногда, и в лес на охоту ходили. И вот случилось, что на участке не оказалось метлахской плитки. А в фасовочном отделении полы предусмотрены как раз из такой плитки. Как быть? Обзвонил Федорыч все конторы — нигде нету. А заводишко через месяц сдавать нужно. Федорыч и заикнулся представителю, что, мол, давай сделаем деревянные полы. Будут тут девки бутылки да банки закупоривать — не все ли равно им, какой пол? Согласился представитель. Сделали. Когда же приехала комиссия принимать завод — члены ее крепко возмутились подобной заменой. А представитель, почувяв неладное, заявил прямо при Федорыче:

— Я знать ничего не знаю, никакого согласия я не давал.

Кое-как уговорили комиссию принять завод, а Федорыч от своего начальства получил выговор.

Еще история. Совсем недавно, уже здесь, в Кедринске, сам начальник участка Гуркин, поскандалив с заказчиком, вызвал к себе Федорыча и сказал ему:

— Сейчас же переведи всех каменщиков с шестого дома на больницу.

Сказано — сделано. Перевел Федорыч всех людей, хотя толком и не знал, зачем дом оголять. Хорошо. Через неделю начальник уехал в отпуск на юг, а управляющий трестом, узнав о случившемся, потребовал объяснений. Федорыч рассказал все как есть; так управляющий едва-едва не уволил его с работы: ему не верилось, что Гуркин мог дать такую команду.

Картавин выслушал своего непосредственного начальника и сказал:

— Ты же видел, что людей переводить нет особой нужды, взял бы и не послушался.

Федорыч покосился на него и ответил:

— Ну это уж вы не слушайтесь... Вы народ уж больно грамотный... Пошли-ка лучше проверим... Ты посмотри, как там с коробами на чердаке. подвигается дело, а я понизу пройду.

Федорыч не любил, когда ему возражали или ставили под сомнение его поступки.

Выйдут они из будки и разойдутся — Картавин лезет на чердак больницы, а Федорыч внизу просматривает, как работают люди. Главный корпус больницы был уже почти готов: стены имелись, крыша прикрывала их, и перегородки кабинетов были готовы. Оставалось уложить кое-где полы, навесить окна, двери, оштукатурить, побелить да покрасить, — много работы еще было.

Заберется Картавин на чердак и ходит согнувшись вдоль готовых вентиляционных коробов. Осмотрит их — и к тому месту, куда каменщики перешли. Постоит. Если что не так, поправит. Спросит, знают ли, как и куда пойдут ответвления, кивнет и дальше двинется. Федорыч внизу

воюет. Хоть где ты будь: на чердаке ли, в подвале — все равно слышен его голос:

— Ты куда полез, а?! Тебе там что надо? — разносится его крик. — Хочешь голову сломать, а я за тебя отвечай! Циркачить или работать пришел сюда? Лоботрясы!

Федорыч выскакивает из-за угла и вдруг раскидывает руки в стороны. Возчик, который привез доски, сбросил их как попало и собирается уезжать.

— Ануфриев! Кто так сваливает доски?! — набрасывается на возчика Федорыч. — Ты что, на свалку их привез или на объект? Что такое?

— Не развернуться тут...

— А береза зачем? — Федорыч подбегает к куче досок и тычет в одну из них ногой. — Зачем береза сюда?! Ты себе на гроб лучше припаси ее. Ну что ты привез?

Возчик молчит. Ему нагрузили, он и привез.

Федорыч знал, что возчик играет малую роль в этом деле, но нужно было вылить возмущение.

Вскоре он продирается под лесами к бригаде плотников, и слышно:

— Контингент! Ох и контингент, — хрипит он, — подождите мне... дай срок...

Набегаются Федорыч, нашумит, порядок наведет — и в прорабскую, а то где-нибудь на кирпичик или на бревно присядет передохнуть.

— Напрасно ты кричишь, Федорыч, — говорит ему мастер, — что толку в крике?

Федорыч плюется:

— Ай-ай-ай! Ну чему вас там учили? Откуда вы беретесь такие хорошие? — тарашит он круглые серые глазки. — Ты слушай, о чем толкую

тебе... Я ведь не для зла говорю — ты мне в сыновья годишься. Ты инженер — хорошо. Год со мной работаешь — дело понимаешь. Но народу-то всякого вон сколько! Дурака и негодяя ты же не заметишь, как, скажем, клопа или блоху? А у тебя дело в руках.

— Нельзя же смотреть на каждого как на негодяя.

— Ах ты! Да я тебе вот что скажу: наша работа — это как на войне: сказал делать, и шабаш! Порядок должен быть.

Федорыч смотрит на площадь перед больничным городком, на строящиеся дома за площадью, на виднеющийся за ними растущий корпус завода.

— Вон на заводе у Репникова девку убило... Видишь ли, с карниза гайка тяжеленная свалилась и переломила череп. Да что ж, гайка там сама очутилась? Подлецы монтировали балки и оставили. Вот тебе и на...

О военных годах Федорыч не любил говорить. Как зайдет разговор на эту тему, он и умолкает. Посидит, посидит, послушает и, если разговор затянется надолго, в сторонку отойдет. Зимой, в сильные морозы, в прорабскую набивались рабочие обогреться. А они как соберутся, так и копнут прошлое. Федорыч бочком, бочком — и вон из будки. Уйдет в другую бытовку и сидит там, курит.

Картавин однажды спросил его:

— Ты где воевал, Федорыч? Ты вот и хромаешь...

Федорыч помял по привычке щеки ладонями, посмотрел из-под бровей на мастера и сказал:

— Эх, Борис Дмитрич, есть такое — вспоминать жутко... Я, брат ты мой, как в декабре сорок четвертого года последний раз выписался из госпиталя по чистой, так доктор, молоденький такой, сказал: «Я, Иван Федорович, подсчитал, сколько весят осколки в вашем теле». — «Сколько же?» — спрашиваю. «Восемьсот граммов. Так что, если побавилось у вас кое-где костей да мяса, то железом все восполняется».

Тут же Федорыч встал со скамейки, распоясался, задрал на спине рубаху с майкой, нагнул. Смотрит Картавин: через всю спину от левого плеча темно-синяя полоса шириной в ладонь тянется. Будто широкой тонкой лентой перепоясан Федорыч.

— Разогнись, — попросил Картавин. Ему казалось — лопнет синяя пленка от натуги.

— Потрогай, потрогай, — хрипел Федорыч, — там в лопатке самый большой, подлец... Да не бойся...

Картавин потрогал бугорки на спине — твердые. Федорыч разогнулся, привел себя в порядок.

— Так я их и не замечаю, — проговорил он, усаживаясь, — сидит себе и пусть сидит. А вот когда забудешься да полежать захочется на спине — беда... Ляжешь, вытянешься и, скажи ты, куда лежишь — ничего. А ворохнешься да поднимешься — вся спина поет, будто во хмелю били тебя чем попада.

— В больницу не обращался?

— Я? Пропади она пропадом!.. Года четыре назад отправился туда — в Тихвин аж съездил. Что же можешь подумать? Как вошел туда, как

нюхнул этого воздуху, весь так и задрожал, брат ты мой. В груди тесно сделалось, а по лбу испарина пошла... Отлегло маленько — я ходу. И больше ни шагу. Нехай уж так и помру с железом. Где напырнусь на гвоздь, гляди, и не проколет, — усмехнулся Федорыч.

У него нехорошо было с легкими. И все знали об этом. Знали не потому, что Федорыч жаловался на болезнь, а потому, что он часто ругал врачей, лечивших его.

— Сказки одни да обман, — говорил он. — Коль ты здоров, да, скажем, простыл — тут поможет. А если уж у тебя нутро вроде огурца прошлогоднего, то все это одна затея.

— Как же ты легкие лечишь? — спрашивал его мастер.

— А домой врач ходит... Вот и новую больницу построим, а зайти в нее не найду, потому как знаю: заберусь — больше не выберусь...

Частые дожди и сырость донимали его. Но Федорыч никуда уезжать не хотел.

— Куда я там поеду, — говорил он мастеру, — куда? Тут меня все знают, и я знаю, как и что. Нет уж... Родился в этих местах, поезжено и искожено и не подсчитать сколько, так я в этих местах и останусь.

Как-то уехал из Кедринска товарищ Картавина, молодой инженер. Картавин его провожал и на другой день рассказал об этом Федорычу. Тот выслушал и вздохнул.

— Вот тоже... народ вы какой-то: пожил, поработал и улетел. А куда? Куда?! Платят хорошо. Работы пропасть. Женится, получил квартиру, и живи себе, будь человеком. А тоже — уехал. А что

там?.. Все это молодость — летать, видишь ли, охота.

— Ты в молодости разве не летал? — спросил его мастер.

— Я? Ах ты, Борис Дмитрич, Борис Дмитрич. Я, говорит, летал! А ты знаешь мои полеты? Э-э!.. Вот слушай меня: в сорок втором году лежали мы под Харьковом в окопах. И скажи ты, места там сплошь сухие, как в печи. Иной раз лежишь на земле, пули над тобой цвикают, а у тебя одна мысль: где бы глотнуть водицы. А тут угодила в такое место, где сырость кругом, как здесь у нас. Лежим. Третий час подходит — это, значит, все войска наши в земле, ждут налета. Летят. Притулился я в окопчике, рот разинул на всякий случай и жёду. Вдруг — ва-ва-ах! Меня вместе с землей на воздух. Лечу, брат ты мой, руки и ноги у меня в разные стороны тянет. Хлоп! Есть — упал в болотину. Хвать сам себя за ноги — целы. Только хотел отряхнуться — как ужнет, и я тем же порядком в небеса да опять в болотину. Хвать-хvatь себя — цел. Чую — ноги лезут в трясиину. Я скорей к бугорку, а тут снова швырнуло меня... И вот, скажи ты, раз пять, как лягушку, носило меня по воздуху... Да... В последний раз шмякнуло о твердое, и конец. Только раскрываю глаза — тихо. Санитары надо мною беседуют: в болоте закопать, где земля помягче, или тащить к общей могиле?.. Шалишь! Первым делом цап-цап себя — ноги целы, только не шевельнуть ими... Через три месяца ожил и вернулся в часть. Ребята смотрят:

— Кибиткин, ты?

— Я, — говорю.

Хохол со мной служил. Видел он, как меня швыряло, говорит:

— Ну и полетал ты, Федорыч! Дивился я, как ты сигал, будто лягуха за комарами, а гляди — жив остался...

Федорыч попивал водку. Пил тайком от жены, и от начальства, и от большинства своих рабочих. Но как он ни таился, все знали. И доставалось Федорычу больше всего от жены. Начальство что? Начальству главное, чтоб на работе был трезв, а там кому какое дело — у каждого забот полно своих. А жена — вот она, как глаза раскрыла утром, так все о семье думает. Одна взрослая дочка Федорыча училась в Ленинграде. Расход большой. Самим надо. Да и врачи запрещали ему пить, а жена верила им, как святым. И чуть потянет от Федорыча спиртным — скандал, крик, слезы. А Федорычу и отбиться нечем. Крикнет:

— Замолчи, Надька!

— Дочке напишу! — грозит жена.

— Не ори, дай отдохнуть!

— Ах, отдохнуть?! Шары залил где-то — и отдохнуть! Пьяница...

Нет отдыха Федорычу. После пяти часов жена уже поджидала его. В случае если не появился вскоре после гудка, бежала в контору. Если Федорыч в конторе — просто напомнит, что обед остывает, и уйдет. Если же скажут, что его нету там, — бежит по родным и знакомым. Как найдет — опять крик, и еще больше, чем мужу, достанется тому, кто дал приют для выпивки. Поэтому знакомые и говорили:

— С водкой не приходи, Федорыч. Так поси-

деть заходи, а с водкой нет. Надька твоя налетит — и выпить не захочешь.

Одним словом, негде было выпить. И Федорыч решил заниматься этим делом в своей прорабской. Тут в столике он держал бутылку перцовой водки. Обыкновенно она стояла в самом захламленном уголке. Если кто заглядывал туда, то видел стружки, ключья пакли, рваную бумагу и даже окурки. Перед обеденным перерывом Федорыч запрет дверь на ключ, выпьет стаканчик и заест чесноком.

В тот день, когда Картавин в первый раз вошел в прорабскую с направлением из конторы, Иван Федорыч сидел, уперев локти в стол, и смотрел в угол, о чем-то мечтая.

Картавин представился ему.

Федорыч молча оглядел появившуюся фигуру в серо-зеленом пиджаке, в серых брюках, в желтых туфлях и кивнул на лавку. Расспрашивал: где Картавин учился, откуда он родом и кто родители. Борис Дмитриевич ему коротко отвечал и сказал, что родителей у него нет.

— Так... значит, кончил учебу, — закруглил тогда Федорыч разговор. — Теперь работать... Чертежи хорошо умеешь разбирать? Ну конечно, умеешь, должен уметь. Женат?

— Нет. Еще нет.

— Эка-а... Ну так женишься. Только смотри, у нас, брат, тут это самое — сразу не кидайся, если рожца приглянется. Могут поколотить. Ты оглянись пока. Пусть узнают, кто ты есть, а там и действуй. Девоч много...

Федорыч подмигнул, цокнул языком и, ткнув ногой в угол, спросил:

— Вот с этим прибором умеешь работать?

Там стоял теодолит.

— Конечно, умею, — сказал Картавин.

— Вот и чудесно. Водку пьешь?

— Нет...

— Не пьешь? Ого-го! Будешь пить! Иначе вам удачи не видать. Не видать! — повторил он. — Строителю без водки нельзя. Я в прошлую зиму совсем тут рядом, за Бугорками, на скважине два раза чуть не замерз. А как натерся водкой да пару стаканов вовнутрь принял — и здоров. А ну-ка, закрой дверь.

Картавин повернул ключ.

Федорыч полез рукой в стол и достал бутылку с перцовкой. Затем из-под вороха чертежей извлек стакан. Осмотрев его, отер стенки с внутренней стороны кривым указательным пальцем и налил водки. Залпом выпил и, присев, зажмурился.

— Ах, хороша-а-а, — запел он, — хороша! Так и пошла, так и пошла по всем потрохам... На, пей! — налил он Картавину. Тот отказался. — Пей, пей, она слабая, не обижай старика.

Картавин выпил.

Федорыч сунул ему корочку хлеба.

— Понюхай, да пойдем обедать. После обеда проверим отметки в правом крыле, как бы пол не зависить...

Они вышли из прорабской. Гудок на шиферном заводе уже прогудел. Впереди них шло лишь трое задержавшихся рабочих. Слева по большой площадке ползали бульдозеры, выдирая ножами остатки кустарника. За площадкой желтели крыши изб, покрытых дранкой. Справа, в километре

расстояния, за железной дорогой виднелся хвойный сырой лес.

— Водку не пей, — советовал Федорыч Картавину, держась, чтобы Картавин шагал рядом, края дорожки, бежавшей среди моря изрытого коричневого грунта и грязи, — водка дрянь, предательница. Если только к случаю... Перцовка хороша. И жжет, и запаху нет... Напиваться нельзя.

Картавин слушал, а когда расходились, заметил, что он и не собирается пить.

— Да ты не серчай, — сказал Федорыч. — Брось ты, я же так. Оно хоть ты инженер, а я никаких образований не имею, но скажу: повидал я вашего брата ого сколько! Приедет — вроде ничего. А там тык-мык, тык-мык — и укатил.

Федорыч не первый делал такие предупреждения. День назад, как только Картавин приехал в Кедринск, он побывал на приеме у управляющего трестом. В просторном кабинете справа, вдоль окон, тянулся узкий стол, покрытый зеленым сукном. А в углу, за маленьким столиком, сидел лысый худой старик с большим черепом, одетый в черную шелковую рубашку. Картавин подошел к столу, положил документы и сообщил, кто он и с какой целью прибыл. Управляющий кивнул на стул. Перебрал документы.

Борис Дмитриевич смотрел на желтый гладкий череп и ждал. Наконец череп приподнялся, и черные, старчески мутные глаза, сидящие в больших темных глазницах, уставились на него.

— Бетонные работы знаешь? — прогудел подвальный бас.

— Знаю.

— Земляные работы?

— Знаю.

— Гм...

Казалось, управляющий начинает сердиться.

— А водку пьешь? А? — управляющий качнул черепом, и в глазах его блеснула еле заметная искорка усмешки.

— По праздникам... — протянул Картавин, но бас перебил его:

— Ну ладно, ладно, начнешь вилять. Скажу одно: знай только, с кем пить, где, когда и сколько. А сейчас иди, устраивайся с жильем.

После же Картавин узнал, что управляющий дает такие советы абсолютно всем, кого принимает на работу, исключая женщин.

2

На работе Федорыч много шумел и ругался. В семье же был тих и спокоен. Прорабы подшучивали над ним, что вот, мол, Федорыч, на объекте ты прямо-таки герой, а как к жене попадешь — и не пикнешь.

Федорыч отмалчивался, а в разговоре по душам говорил:

— Жена у меня — жалоб с моей стороны нет никаких. Хозяйственная, чистеха. А как где что нужное появится — сейчас она разузнает и достанет. Я в хозяйство и не вмешиваюсь...

Только изредка, когда жена начинала войну, Федорыч протестовал. Он грозился все перебить, всех разогнать и наконец куда-то уехать.

— Не могу я выпить, а? — кричал он, стоя в одном белье перед кухонной дверью, за которой

скрывалась жена. — Я не заработал, а? Днем беготня, ругань, вечером покоя нет! Убирайтесь к черту со своими докторами! Плевать мне на них! Чтоб больше и на порог не пускала этих докторов.

В такие минуты жена превращалась в тихую, ласковую женщину и, пока муж не утомится и не уснет, продолжала быть такой. На другой же день Федорыч появлялся на объекте не к восьми, а часов в шесть утра. Примостится на лавке в прорабской и вздремнет, покуда народу нет. А днем ходит хмурый, много, по любому поводу, ругается с бригадирами и, когда ковыляет на обед, то и дело поеживается, скребет затылок, удивленно озираясь по сторонам, но все-таки шагает.

Если в такой день с материалом бывало особенно туго и рабочие простаивали, Федорыча не устраивала послеобеденная доза. Походит, пошумит для порядка, зайдет в прорабскую и пропустит граммов сто. А если в это время наезжало начальство, он «ударялся в бега».

Скажем, Картавин сидит на корточках и, наклонив голову, прицеливается глазом: правильно ли по горизонту выложили каменщики столбики под лаги. Сами каменщики сидят в сторонке, перекуривают. В противоположном конце коридора появляется низенькая плотная фигура в сером простом костюме, в кирзовых сапогах и в затаस्कанный кепке — это Федорыч. Он машет мастеру рукой — зовет к себе. Картавин подходит.

— Там нагрянули эти, — торопливо шепчут почти обесцвеченные губы Федорыча. — Я в бега, а ты иди, встретить их...

— А кто приехал?

— Черт их знает! Целая машина. Ах ты! Ну

иди, иди! — толкает Федорыч мастера в спину и сам исчезает в проеме. Он поспешно ковыляет или на чердак, куда начальство редко заглядывало и где можно всегда схорониться в темноте, если бы начальство и забралось туда, или в подвал, куда проникнуть нельзя из-за подмостей, не убранных после штукатуров. А то «на воздух» — к какому-либо из соседних прорабов.

Картавин же отряхивался от пыли и направлялся к центральному входу, прикидывая в голове, какими вопросами и жалобами обрушится на приехавших. В проезде между штабелем шлакоблоков и насосом, подающим раствор на этажи, стоит зеленый «козел». Подле него начальник участка Гуркин, главный инженер участка Николаев, сам управляющий и еще двое незнакомых. По одежде и по тому, как эти двое озираются, Картавин догадывается — гости из Ленинграда.

Гуркин уже послал одного из рабочих за мастером и прорабом, а пока сам дает пояснения. Картавин подходит, здоровается. Гуркин никогда не здоровается с подчиненными за руку. Сейчас же он протягивает руку, пожимает и, улыбаясь, представляет:

— Прораб — молодой специалист, инженер.

Все здороваются с мастером.

— Ну, веди, покажи, что у тебя тут творится, — говорит управляющий. — И где же твой старший?

— Иван Федорович ушел на лесозавод, — врал в таких случаях Картавин, — звонили, звонили мы — не везут шпунтовой доски! На планерке постановили: давать на больницу доски в первую очередь — и не дают.

— Гм...

Картавин ведет гостей туда, где меньше мусора и качество работ получше. Строители на некоторое время прекращают работы, отвечают на приветствия и снова принимаются за дело.

При таких посещениях мастер пользовался методом Федорыча. Подведет, как бы случайно, к отлично выполненному кабинету: полы настланы ровно, двери подогнаны как в сказке, железобетонные перекрытия — без единой раковины. И тут же укажет на какой-нибудь ничтожный недостаток.

— Вот, — говорит он, — немножечко недоглядели, складывали радиаторы и поцарапали.

Предложит пройтись по всем этажам. Позади всех шагает Гуркин. На лице у него выражение: смотрите, мол, что есть, то есть — мне безразлично. Все знали: он ловит каждое слово мастера, следит за управляющим, тот никогда не обрушивался на мастеров, прорабов и тем более на рабочих. Но начальникам участков доставалось. Управляющий кричал на них как на мальчишек за малейшую оплошность в работе.

— Ну ладно, ты меня, старика, затаскаешь, — говорит наконец управляющий. — Он вас дальше проводит, — обращается он к гостям.

Гости останавливаются, дальше идти нет смысла. Видно и так: работа неплохая, только медленно подвигается.

— Что тебя держит? — спрашивает управляющий.

«Ага, — думает Картавин, — теперь самый момент». И говорит:

— Мало возят бетона, до сих пор никак не

получить обещанную арматуру, задерживают со сборными балками, нет кирпича, нужен срочно бульдозер.

Гуркин кивает и поясняет, почему именно так обстоит дело.

— Хорошо, — перебивает его управляющий, — составь список: сколько чего нужно, когда надо завезти, и завтра принеси мне — все будет. Звони мне ежедневно. Да грязь, мусор убери. У самого входа развел болото. Или там у вас свалка? А? Поставь на главный корпус больше людей — и чтоб через месяц был готов. Понял?

— Хорошо.

Начальство двигается к выходу. Картавин отстает, закуривает. Он доволен.

Слышно, как хлопают дверцы машины, гудит мотор.

Мимо проходит сантехник Вася и два плотника.

— Унесло?

— Пронесло, — говорит Картавин.

Федорыч отсиделся на чердаке. Через слуховое окно он видел, как уехала машина, и теперь старший прораб уже спускается по лестнице. «Ну?» — спрашивают его глаза.

— Иван Федорыч, ура, — говорит мастер, — клюнул жареный петух.

— Неужели?

— Сам дед сказал, чтобы список подали.

— Эх ты! — Федорыч потирает руки.

Потом они спешат в прорабскую и садятся писать. Чудесное начинается время! Плотники получают фронт своей работы, каменщики — своей. Без всяких просьб будут оставаться и после пяти —

материал есть, деньги будут. План прорабство выполнит.

Заспорят, что нужно и сколько нужно завезти в первую очередь. Федорыч разгорячится: нужно под шумок хватануть материалу побольше, про запас. Поругаются.

Наконец список составлен. Картавин ходит по будке. Смотрит в окно: бригада Савельева кончает опалубку портика. Савельев пока сам, по чертежу, ставит арматуру — мастер приучал его читать чертежи. Около Савельева сидит Никитенко — совсем мальчишка, весь, с головы до ног, смешной и смешливый. Он тоже заглядывает в чертежи — интересуется.

Под фундамент прачечной экскаватор роет котлован. Он как чудовище из страшной сказки: бросает свою зубастую пасть в грунт, грызет его так жадно и остервенело, что от попадающих под зубы валунов летит белая пыль. Затем чудовище вскидывает голову и, на секунду замерев, поворачивает ее к дороге; там пасть открывается, и грунт валится в кузов приседающего разом трехтонного самосвала.

Картавин отходит от окна, присаживается. Некоторое время они с Федорычем сидят молча, курят, переглядываются. В этот момент Федорыч особенно нравится мастеру. Ему все сейчас нравится: и то злобное чудовище, грызущее грунт, и Федорыч, и Савельев, и Никитенко, и все другие. Они все одинаковые дети работы, одни старше, другие моложе.

Посидят так и вскоре отправляются по объекту. Картавин шагает к Савельеву — проверить уложенную арматуру, пояснить, где начнется при-

стройка, и дать размеры, а также предупредить, что открыта «зеленая улица».

Со стороны морга доносится голос Федорыча:

— Опять залез сюда? Тебе сколько раз говорить? А?.. Навыков! Ты что? Дремать сюда пришел? Ну, что молчишь? Отвечай!

— Можно, брат ты мой, хоть как провиниться, — в который раз рассуждает вслух Федорыч. — Скажу вот так: прогулял нагло два дня — простят, напейся пьян — простят. Ну, а фонд зарплаты решил перерасходовать, тут уж все: ты и бездельник, и руководить не умеешь. Одним словом, никудышный человек.

А с фондом у них туго. Вот, скажем, подкрадывается конец месяца. Это значит, нужно закрывать наряды на зарплату. Федорыч облетал все бригады, нашумелся, а потом с механиком участка забрался в подвал — там откуда-то взялась вода и все прибывает и прибывает. Механик провёл туда свет. Федорыч бродит в полумраке по щиколотку в воде, то и дело нагибается, жжет спички, ругается — никак не найти, в каком же месте она пробилась из-под земли.

— Зараза, — ворчит он, — откуда же она взялась?..

Механик, который должен установить насос для откачки воды, хлопочет в другом конце — тоже ищет.

— Ну что там, Петр Иваныч? — спрашивает Федорыч.

— Ни черта не видно. Придется немного откачать, а там и найдется.

— Это так... Но где ж она лезет?..

Механик уходит налаживать насос, а Федорыч продолжает поиски. Можно подумать, что он ищет какое-то живое существо, очень маленькое, никудышное, но вредное.

Мастер ушел в контору за чертежами, и как раз в это время в прорабскую заглядывает бригадир плотников Андреев. В будке никого нет. Андреев бегаёт по этажам и то и дело спрашивает:

— Не видели прораба?

— Тут где-то был, — отвечают ему.

Обежал Андреев весь объект — нигде нет начальников. Он садится около другой бригады, закуривает и ругается.

— Ты чего опять, Петька? — спрашивает Савельев.

— Ну их к черту... Говорил с утра, что подвезут подтоварник, а до сих пор — на тебе... Бригада опять стоит. По чьей вине? А месяц уже к концу.

Кто-то сообщает, что видел Федорыча в подвале. Андреев отправляется туда. У бригадира порван сапог, поэтому Андреев просовывается в проем по плечи:

— Иван Федорович! Подтоварник кончился. Доски опять же нету!

— Как нет? Не привезли, что ли?

— Да где ж привезли?

— Мастеру говорил?

— Он в конторе.

— Тьфу, черт возьми! — ругается Федорыч и выбирается на свет.

— Ну и чего ты бегаешь? — набрасывается он на бригадира.

— Как же?

— Нет лесу — и сидеть, значит, надо? Станови на уборку людей.

— Опять уборка? Что же это?

— А кто за тебя убирать будет?

— Где?

— Не знаешь? По правому крылу кто перепородки ставил? И кто за собой мусор не убрал?

Бригадир молчит.

— Вот давай трех человек — насос погрузить, а остальных на уборку.

— Опять?..

— Не опять! Гадить все мастера! Работнички! Где я досок возьму?! Кто разобрал леса на фасаде?.. Все подчистить, и ни соринки чтоб не было.

Федорыч круто поворачивается и спешит в про-
рабскую. Хватает там трубку телефона и звонит
Гуркину.

Андреев подходит к будке, слышит, как Фе-
дорыч скандалит. Бригадир потопчется, махнет
рукой и уйдет.

Из всего этого получается: полный час брига-
да уже простояла, теперь пойдет на уборку. Если
учесть, что подобных случаев выпадает в месяц
порядочное число, то легко догадаться, как велика
сумма «мертвых часов». А заплатить людям
нужно.

Для Федорыча острый нож к горлу «лишние
рты». «Лишними ртами» он называл беременных
женщин, которые, согласно закону, на некоторый
срок беременности переводятся на легкий труд.
Они подметают, протирают стекла. Зимой следят
за печками в бытовках. На любом объекте такие
работницы есть всегда. Чаще всего они сидят где-

нибудь в укромном уголке, где их никто не видит, и шушукуются, обсуждают свои дела. У Федорыча же душа разрывалась, если он видел, что кто-нибудь медленно поворачивается на работе. Но тут ничего не поделаешь, и Федорыч просто избегал встреч с ними. Если же столкнется носом к носу или наскочит на компанию обсуждающих неизвестно что, некоторое время постоит молча и вдруг скажет:

— Ну что же так, а? Ах, девки, девки! — И пойдет прочь.

И вот случилось следующее: в прорабскую входят пять беременных женщин и молча рассаживаются на лавке. Одна, постарше, подает Федорычу записку. Все пришедшие никогда у Федорыча не работали. Их прислали от другого прораба, у которого с деньгами худо.

Федорыч и не смотрит на записку. Он хватается за голову, наклоняется к столу и поочередно осматривает лица пришедших.

— Это что такое? — наконец стонет он. — Вы с какого неба свалились? Я спрашиваю: зачем вы пришли?

— Иван Федорович, — говорит подавшая записку, — главный инженер нас прислал к вам, а мы ни при чем...

— А я при чем?! При чем я? Где я денег возьму, а? Вы бы спросили у главного инженера: он на вас фонды прибавит мне? С потолка али с неба деньги валяются?

Федорыч выбегает из прорабской и сталкивается с мастером.

— Иди! — кричит он мастеру в лицо. — Это по твоей части. Инженеры...

Картавин входит. Женщины очень молоденькие. Они стесняются, опускают глаза, — прием Федорыча смутил их.

Та, что постарше, говорит соседкам:

— Вы, девки, не бойсь: он, шальной, всегда так... Заорет, закричит, а закон есть закон. Мы тут ни при чем.

Мастер переписывает их фамилии в журнал. Некоторое время соображает, куда бы их определить, и наконец говорит:

— Ну вот что, девушки... Идите в лес, наломайте веников и займитесь уборкой.

Женщины уходят.

Через полчаса Федорыч влетает в будку.

— Ну, убоготворил?

— Нельзя так, Федорыч. Закон есть закон, напрасно людей теребишь.

Прораб тяжело опускается на лавку.

— Ну, Борис Дмитрич, я же не зверь лесной, — стонет он печально. — Да я им заплатил бы по сто рублей на день, но где взять?

— Ничего. Выкрутимся.

— Да... Ну ладно. Давай-ка прикинем, сколько выходит Савельеву и Куприянову...

Это самые большие бригады, и им закрывали наряды в первую очередь. Пока мастер роется в столе, выкладывает наряды и просматривает журнал работ, Федорыч рассуждает:

— У Васьки Пучина опять баба родила. Это у него уже пятый... Сам Андреев старуху мать привез, да сестра к нему приехала из деревни. Покуда не работает... Эх, денежки-денежки-и-и!..

Случалось, не успевали подписать в срок наряды. Тут уж суббота подбежала, а в понедельник

ник обязательно нужно отнести бумаги в контору.

— В воскресенье посидим немного, — скажет Федорыч мастеру, — часика за три и разделаемся.

Придут в воскресенье в прорабскую и считают да пишут. К середине дня окончат.

— Ну что, кажись, конец? — скажет Федорыч.

— Да, вроде разделались...

— Эх-хе-хе, денежки... Денежки, брат ты мой, всем нужны. Куда ни кинь, держат деньги человека... Что ж, понятное дело — каждому охота поработать сколько нужно да и отправиться спокойненько домой, в магазин зайти, поглядеть, подумать, чего взять получше, нагрузился — и до свиданья.

Федорыч глядит в потолок, потом на Картавина. Помолчат. Мастер сложит бумаги, закурит.

— Слышь ты, читал я вчера в газете: машины такие будут — хошь по земле на ней езжай, хошь по воздуху. Дорог — так и не надо. Подъехал — дом стоит. Сейчас — раз и через него. Болото, скажем, — прыг и перелетел. А так поди сунься куда от Кедринска — мигом в болоте увязнешь...

Федорыч вытащит из потайного карманчика часы:

— Половина третьего. Эх ты времечко бежит...

3

Весь день мастер и прораб бывали вместе, а как кончался рабочий день — порознь. Федорыч к себе домой, к семье уйдет, Картавин — в общежитие, где жил с такими же, как и он, инженерами.

Федорыч несколько раз приглашал Картавина в гости. Скажет:

— Может, зайдешь, Борис Дмитрич?

— Некогда, Федорыч. — И вся недолга.

А однажды заглянул. Случилось это вечером, после планерки. На планерке им досталось обоим за ограду, которую не поставили в срок. Оба считали себя невиновными — людей не хватало.

На планерке Федорыч отмолчался, а как пошли по улице, заговорил:

— Чего же он хочет? Что я, самовар, что ли, чтоб всех напоить из одного крана?

До угла им было по пути, а стали прощаться, Федорыч сказал:

— Слушай, может, зайдем ко мне? Посидим, посмотришь, как я живу. Возьмем бутылочку и, слышь, по-человечески посидим. Что ж мы с тобой, собаки, что ли?

— А жена?

— Не-е... она при гостях ничего не скажет.

Картавин согласился.

Занимал Федорыч половину коттеджа. Половина эта состояла из трех комнат и кухни. В большой комнате, где обедали по праздникам и гостей принимали, стоял круглый стол, шкаф для одежды и белья; в углу тумбочка с книгами; у стены оттоманка. В другой комнате Федорыч да жена спали, в третьей — дети. У них было трое детей. Старшая, Клавдия, уже училась в Ленинграде, двое жили в семье — мальчик и девочка: Коля учился в шестом классе, Валя — в пятом.

Маленький дворик Федорыча огорожен решетчатым низким заборчиком из дощатых планок. Во дворе сажали каждый год немного картошки,

грядку лука, грядку моркови. В сарайчике хранились дрова и бегало шесть кур.

Когда входили в дом, Картавин задержался в коридоре, вытирая ноги. Надежда, услышав кряхтенье мужа, вышла из кухни и подозрительно глянула на него. Но появился Картавин, и она, ответив на приветствие, вернулась на кухню.

— Стреляй, стреляй, — сказал ей вслед Федорыч, — ни в одном глазу — мы с собой принесли.

Надежда и бровью не повела, что недовольна. Подала им обед, рюмки и ушла к детям.

Федорыч подмигнул:

— Она, брат ты мой, вот сколько живу, так ни разу и не выпила как следует. . . Надя, иди с нами посиди! — позвал он ее.

Жена вернулась, присела.

— Знаете, — говорила она Картавину, — у него привычка: сам пьет и другие должны то же самое. У них тут и родня вся такая. . . А ведь ему нельзя. . .

— Но-но! — перебил ее Федорыч. — Молитвы потом, не хочешь — и не надо.

Жена рассказала, что достала отрубей. Преподнесла печальную новость: у Ильиной Катерины муж сбежал неизвестно куда.

— Раз сбежал, так, конечно, неизвестно, — заметил Федорыч. — Вы доведете. . .

Посидев еще немного, жена опять ушла к детям.

— Видал? — подмигнул Федорыч, когда Надежда прикрыла за собой дверь. — Во, брат, я тебе дам совет: жениться как будешь — бери хозяйственную, чтоб дом берегла. Эти вот ваши: туда-сюда — нет! Так, одна видимость. . .

Поговорили о работе, о Гуркине. Федорыч перебрал начальство, какое повидал в жизни, а потом снова начал о себе.

— Ты вот послушай, — он старался говорить тише. — Это же у меня не первая жена, а старшая дочь не родная.

— От первой жены?

— Нет, не то. Клавдия — ее, а не моя... Вот слушай, что я тебе расскажу, брат ты мой. Первая жена была у меня — ведьма. Чего смеешься? Правду говорю, суцая ведьма! Погоди... Как выписался я из госпиталя по чистой, так в Тихвин и приехал. Конечно, сразу в военкомат — и домой в деревню, в свое Осташкино. Не то чтобы на самом деле, а так, представление, — от тишины ходил как глухой. Веришь ли, брат ты мой, кругом тихо, ну чистое болото. Лес кругом, избы как избы, бабы как бабы, а не могу. Хоть вешайся. А я-то каких только городов не повидал, где только не побывал!.. В общем снова подался в Тихвин и определился там в милицию. Тут вроде поживей. Поручили мне базар да на вокзал ходил изредка. Работаю. Баб таскаю с корзинками, жуликов хватаю, с пьяными воюю... Ничего. А жил при милиции в общежитии. Надо жениться? Надо. Ходили как-то кино смотреть, а как вышли — вижу, стоят две. Ну подошли, как обыкновенно, завели разговор, и одну провожать я пошел. Сказала, боится, дескать, идти. И вот, брат ты мой, как проводил, да так и женился... Вначале ничего. Жили и жили. Да. Забеременела она, и давай концерты вытворять. Ляжет на кровать и лежит. Лежит ночь, день и вечер. А знаешь то время — голодно жили. Вот я намотаюсь за день на базаре, припле-

туть домой чуть жив. Жили же мы с ней в ее комнате. Платили сто рублей хозяйке. Разденусь потихонечку, загляну в дверь — лежит. Ничего. Сейчас на кухню. Начищу картошки, наварю щей, второе сделаю — все честь по чести. Разолью по тарелкам и зову ее: «Маша, идем поедим».

Поднимается, ведьма, глаза так закатыт и чуть живая — к столу. Оплетет тарелки две — и в постель. Вызывал докторов к ней — ничего, говорят, все нормально, месяца через три пусть придет в больницу, может, что и есть у нее... И вот что же ты думаешь? Вот слушай. А служба есть служба. Вызовут ночью в отделение — шапку в охалку и пошел. И однажды всю ночь пробегал на вокзале под вагонами — вора ловили. А днем опять на работу. Да только уже не могу я, и все. Пришел к дежурному, а как раз там начальник записи в журнале изучает. Посмотрел он на меня и говорит: «Иди-ка, Кибиткин, домой, поспи, а то ты совсем плох стал».

Хорошо. Поковылял я. И вот тут-то у меня первый раз заскочило подозрение в голову: захожу я в коридор, а хозяйки нашей мужик, Гаврила Петрович, будто из моей комнаты шасть и к себе за дверь. Ничего. Захожу, раздеваюсь, на диванчик прилег. Смотрю, моя больная морду воротит к стене, вся так и пышет огнем, будто у печи во-зилась... Да как застонет, как замечется по постели. Что такое? А Гаврила Петрович заходит и говорит: «Что, опять началось? Ты, Иван Федорыч, врача бы позвал. Я вон тоже спал после смены, так без тебя случилось, она и разбудила меня».

Я молчу. Прошло минут пять — успокоилась.

Только чуток охает до постанывает: «Ах, Ваня, горло болит и жар...»

Да-а. В моем положении нельзя это было, но сходил, достал в одном месте самогону и ей с чаем дал, дурень. Проглотила она мое лекарство — и делу конец. А на другой день я их и накрыл. Стучусь в дверь — не открывают. И тихо-тихо так. Думаю: одолеть его не одолею, он мужик здоровущий, но у меня наган. «Открывай, не то стрелять буду!» — кричу в дверь, да в пол и саданул раз.

Баба как взвояет. Слышу, стекла звенят. Он ахнулся в окно и выскочил. Да-а... Открыла она дверь и со слезами на меня: «Ах, — говорит, — помру я! Вор был! Я спала и не слышала, как он забрался!»

Что поделаешь? Я опять молчу — вор, пусть вор. Осмотрел пожитки — целы. Проходит день, второй. Разыскал я новую комнатку, переехал. Думал, она образумится, ан нет... К нему бегала. Стебанул я ее раза два по щекам, и что же? В милицию на меня пожаловалась. Я, мол, то с ней делаю, другое, стрелял и грозил убить. Куда деться? Ушел от нее в милицейское общежитие — разошлись. А в общежитии большинство ребят — молодняк. Конечно, про мою историю узнали, и как смех найдет, так ко мне: «Иван Федорыч, расскажи, как тебя чуть не обокрали».

Глупый народ. К тому же что за жизнь для меня в общежитии. Заявлюсь с дежурства, хочется поесть, полежать, газетку спокойно посмотреть, а с молодежью какой покой? И начал я присматриваться: куда бы махнуть? Тут и слух пошел, будто на месте Бугорков будет строиться завод и город. Подал на расчет, и в тот же день рассчита-

ли. Да только начал прощаться, вводят под конвоем здорового мужика. Гляжу — Гаврила Петрович. Эге, думаю.

Прихожу на вокзал, взял билет и в буфет чаю выпить пошел. А там и моя ведьма подсаживается: «Возьми, Ваня, с собой, я ошибку сделала, теперь исправлюсь...» — «Что же ты так скоро, без этого самого, — говорю ей, — успела родить?» — «Нет, — говорит, — ничего нет. Возьми».

А у самой под глазом синяк.

Ну, думаю, шалишь... Тут я в милиции работал, и то ты вон как, а там-то себе Гаврилу не такого отыщешь. Сел на поезд и уехал. А уж после узнал: Гаврила был не муж хозяйки, а брат двоюродный, и давно он с ведьмой знаком был, — краденое прятали в доме. А меня для отвода глаз она и привела. Вот как бывает...

А Надежду уж тут встретил... Видишь ли, приехал я, образования никакого. Только читать да писать могу. Приняли меня рабочим. Тогда тут лес валили, деревню сносили. Проработал я рабочим месяца три. Но хватка-то у меня у-у! Работать так работать. Документы за себя говорят. Поставили бригадиром, а потом и мастером.

Вербованные наши подъезжают. Закипает работа. Электричества еще не было. Движок стучит, что с него толку? Ночь придет — темень, грязь кругом. А вашего брата инженеров — раз-два и обчелся. На весь участок у нас был главный инженер, да инженер Авдеев тоже прорабом работал, и все.

Вот вызывает однажды в контору главный, спрашивает: «А что, Кибиткин, умеешь ты чертежи читать да с теодолитом работать?»

А я, брат ты мой, об этом никакого понятия не имею: с чертежами дела не имел никогда, и теодолит видеть приходилось только со стороны. Однако говорю: «Как не умею? Приходилось... Строили мы и по чертежам, да и с теодолитом не раз работал... Всяко бывало». — «Ну и прекрасно, — говорит. — Вот тут чертежи домов, вон стоит теодолит. Привяжись к угловому барраку и начинай квартал. У заказчика геодезист заболел, а наш на ТЭЦ занят. С завтрашнего дня назначаю тебя прорабом»:

Забрал я теодолит, чертежи и ушел. Иду и думаю: как же быть? Случай подвернулся! Но ничего. Принес я эту премудрость на квартиру, дверь запер в своей комнате и взялся рассматривать. Оглядел теодолит. Ладно. Развернул чертежи — в глазах рябит. Сидел чуть ли не всю ночь, а потом плюнул и спать лег. Хотел днем к Авдееву пойти, да не нашел его. Так день и прошел. Вечером сходил в избу, где три инженера жили. Один из них молодой. Выслушал мою просьбу — и ко мне. Просидели над чертежами часа четыре. На следующее утро разбивку сделали. А потом с неделю он мне рассказывал, как с теодолитом работать, и чертежами занимались. Тут уж я смело в контору: один вопросик, второй — и пошло, вошел в науку. Живу. Тут уж у меня весь квартал восьмой в руках, перед начальством смелей держусь. Порядок. А вот приду домой, свалюсь на койку, руки за голову, и мысли до того противные лезут в голову, хоть вешайся. Ну что я? Приползет старуха старость, а я бобыль. Ребятишек нет, жеңки нет. Нужно жениться. На ком? На ком, я спрашиваю? Кабы те годы... А вербованные все при-

бывают и прибывают. Стройка во всю ширь разбегається. И вот, скажи ты, как бывает. Прихожу однажды в прорабскую Авдеева, ну и болтаем о делах. А дверь приоткрыта. Смотрю — бригада девок работает, бетон в траншеи принимают. Здоровущие такие девки! Как прет тачку от бойка — не попадайся, расшибет! И вот я смотрю и спрашиваю Авдеева: «Откуда взялась такая бригада?» — «О, — говорит, — девчата хорошие!»

И смотрю, среди них одна... Как глянул — она! Черт знает, как это. Собою приятная, спокойней других. И зачистил я к Авдееву. Узнаю: звать девку Надей, фамилия Субботина. Но и только. Хорошо. Примечаю: подружка с ней отделяется все время, вместе в столовую ходят. Подружка-то совсем девчонка, а Надя в летах. Как приступить-ся? Подойду, бывало, к их бригаде, постою, посмотрю, как работают, да только и скажу: «Мне бы такую бригаду. Переходите, девчата, ко мне!»

Смеются: «У нас прораб молодой, чего же мы к тебе, Иван Федорыч, пойдем?»

Ну, я и в сторону, прочь.

А Савельев-то мой уже работал здесь, холостым ходил. Гляжу однажды: вышагивает, подлец, с молоденькой подружкой по Комсомольской. Ага! Есть такое дело. На следующий день приглашаю его к себе и говорю: «Узнай, кто и что подруга твоей крали: замужем ли она? Да попробуй намекнуть, что, мол, прораб того...» — «Хорошо», — говорит.

...Проходит неделя. А я уж зачистил: как вечер — на улицу прогуляться. Комсомольскую уж бетоном покрыли, так что даже в туфлях бродил. Гуляю однажды, смотрю — идут. Савельев их под

руки держит, чуб у подлеца на версту в небо вьет-ся, зубы скалит.

Подходит ко мне. Вначале то да се, как обычно. Пригласил их зайти к себе. Савельев мигом слетал в магазин, хозяйка закуску на стол. Дочка ее патефон завела. Бал открыли.

За стол сели. Валя-то выпила немножко, а моя ни в какую: «Я не пью, — говорит, — и не хочу. Мне и так хорошо».

Да... Вечер дальше идет, а там и кончился. Пошли провожать их. А до их общежития километра два. Савельев молодец: прошлись немного, он свою под руку — и ходу от нас. Остались мы одни. А темень! Чую — боится она. Народ тогда разный был — съехались со всех концов, и по ночам баловали.

«Иван Федорыч, — говорит, — я боюсь, пойдете скорей».

Шалишь, голубка! Ишь синица! Нет уж, думаю, удалю мне тебя не захватить, так я тебя другим доконаю! И начал ей страху поддавать. Там-то вот, говорю, убили на той неделе среди бела дня, того-то раздели ночью. Особенно холостых девок, дескать, стерегут чуть ли не за каждым углом. Чую — дрожит. Напугал я ее на первом километре, а на втором утешать начал, о себе рассказывать. У нее страх и поулегся. Рассказала о себе, что орловская, из деревни.

«Зачем же уехала оттуда?» — намекаю. «А так, — говорит, — надоело дома, и все».

Ну что ж. Ничего. О себе ей снова. Врать не врал, а как было, так и рассказываю. Про свою ведьму рассказал. Так и расстались.

На другой день подошел к их бригаде. Она как

ни в чем не бывало, и девки не зубоскалят. Значит, не болтала.

Еще неделя прошла. Однажды поймал Савельева на этаже: «Давай еще девок приглашай!» — «Не хотят, — говорит, — я уж звал. Надька не хочет».

Я опять молчок. Шалишь. Несколько раз встречал ее после работы, будто невзначай. Пройдусь, поговорим, и все. И вот только через месяц вижу — из кино бежит. Все, думаю, конец.

Прошлись с ней, и я напрямик выложил: давай поженимся.

А она идет, молчит. И я стих, насупился.

Говорю: «Что же? Как ты решаешь? Или я тебе противен?» — «Нет, что вы, Иван Федорыч! — ответила она. — Я бы и согласна, да я не одна...» — «Как не одна? Замужем?» — «Нет... и не расписана я, а так... обманул...»

Тьфу ты черт! Беду нашла.

«Где же ребеночек?» — «Дома, у матери». — «Кто же?» — «Девочка».

Побродили мы по Кедринску и договорились. На другой день взяла она отпуск, снабдил я ее деньгами, чтоб матери подарков привезла, и уехала она за дочкой.

Через две недели вернулась, и поженились мы. Вначале она работала. А как родила Кольку, а потом Валю, так где уж тут работать. Вырастить да воспитать — хитрая штука... Вот и живем. Клавдия, видишь, уже в институте. Скоро кончит. Я-то знаю: лет пять Надя все боялась, как бы я не проговорился, что она не моя дочь. А зачем мне так? Девка, я тебе скажу, уж больна хороша. Я ее люблю. Вот только уж слишком красива удалась,

как бы не сбаловалась... Учится на инженера по молоку и прочее. Как построим у нас молочный комбинат, так ей тут и место. Лишь бы до поры не сбаловалась...

Просидел тот раз Борис Дмитриевич у своего прораба до часу ночи. Узнал еще, что Федорыч родился и жил в деревне Осташкине до двадцать четвертого года. Отца его забрали на войну с немцами в четырнадцатом году, и не было от него ни слуху ни духу девять лет. И вот уже после революции явился: верхом на жеребце, с наганом, с шашкой, весь в кожаное одет и в руках плетка. В семье у них девок не было, а было три сына: Николай, Петька и Иван. И такое дело — революция уже произошла, царя скинули, а в Осташкине сидят себе за болотами в лесу и сидят. Деревня разделена на две части. Десятка три изб стояли у самого леса, по низине, а дальше к озеру Любовному, на бугорке, где посуше, стояли восемь дворов: Завалиновых, Храпковых, Вахрушевых... Все это народ богатый был. Скупали они по весне скотину по дворам, кормили ее до осени сообща и потом угоняли далеко, в Тихвин, или мясо уезили по зимней дороге продавать.

Земля кругом плохая, сырости много. Жили осташкинцы бедно, и почти все ходили батрачить к Завалиновым и Вахрушевым.

И вот приехал старший Кибиткин. Вечер просидел в избе, расспрашивал о мужиках да сыновей осматривал. Когда ложился спать, сказал жене: «Что-то у тебя, мать, не сыны, а пни болотные».

На другой день развязал свою сумку, достал наган и подал Петьке... «На, держи», — сказал. Достал второй — подал Николаю..

Ванька — Федорыч — стоял ждал, что ему будет? Но отец ничего ему не дал, сказал: «Ты же, Ванька, сам себе добудешь».

Через день объявились братья Чирины, потом Коськовы — отец да сын.

И тут же объявили мужикам, чтоб на бугор, как называли место, где стояло восемь изб богатеев, никто не ходил работать. А сами по-хорошему к ним: лошадей пусть, мол, раздадут по избам — тем, кто больше всего батрачил, и вдовам. Мельница на запруде пусть, дескать, перейдет обществу.

Переговоры вели Коськовы и старый Кибиткин. Куда там! Не согласились бугровские. На следующий день собрались мужики и туда. А там уж тютю! Бухгалтерия простая: в избах остались старухи да бабы, а мужики угнали скотину в лес. Сразу же в избе Завалинова устроили сельсовет, повесили красный флаг — советская власть началась. Старый Кибиткин послал гонца в Тихвин, чтоб доложил там, газет и прочих новостей привез. Только ждут, ждут — нету посланного Васьки Чирина. И вот однажды прибегает в деревню сестра матери Федорыча и — сама не своя — прямо к избе Чириных. Сообщила страшную новость: Васька Чирин у дороги висит на сосне. Старый Кибиткин тотчас предупредил мужиков, чтоб настороже были. А ночью — налет на деревню. Храповых старший сын у налетчиков за главного был. Мужики засели в избах, отстрелялись, убили одного, младшего Завалинова, и на том вроде бы кончилась битва.

А потом еще была стычка, последняя, и убили старого Кибиткина. Убили на болоте, и труп не

смогли отыскать, чтобы похоронить. Тогда же и среднего Кибиткина, Петьку, повесили на Могильном хуторе в часовне.

После всех этих событий Федорыча призвали в армию. С той поры он дома побывал два раза, куда совсем не вернулся. Вначале служил под Костромой. Учили грамоте и стрелять. Затем послали в Сибирь, а как отслужил время, поехал домой.

Приехал, оглядываться начал — финская война подоспела. Во время той войны его и ранило первый раз. Нужно было ручей переходить у самого хутора. Он первым вылез из кустов и ступил на лед. Разом ударило в каску, в глаза полоснуло огнем, он и свалился...

Когда Борис Дмитриевич уходил от Федорыча, тот говорил:

— Ну вот и посидели... Ты если что, время будет — заходи.

И жена сказала:

— Заходите, Борис Дмитрич.

4

Конец осени выдался дождливый. Федорыч чаще чем когда-либо морщился, потирая ладонью спину. Подолгу сидел в прорабской у печки-временки. В разговорах с мастером часто вспоминал свое далекое, полузабытое детство и юность. Некоторые события из этого прошлого прежде никогда не приходили ему на память. А тут неожиданно вспомнилось. Федорыч удивлялся:

— Ты скажи-ка! — хлопал он ладошкой по столу и как-то растерянно улыбался. — И придет же в голову... Ах ты! Слушай, Борис Дмитрич...

И он рассказывал о том, как давным-давно, когда был мальчишкой, на Успенье, он и мать отправились на Могильный хутор. Оказывается, для него вся прелесть этого путешествия состояла в том, что первый раз мать одела его в новые портки, рубашку и, самое главное, обула маленького Федорыча в настоящие сапоги, сшитые из старых отцовых. Этими сапогами он собирался хвастать. Чтобы сократить путь, они свернули с дорожки и пошли овсяным полем. И вот в поле внезапно наткнулись на что-то черное, лохматое. Это был медведь, он сидел к ним задом и горстями пихал себе в пасть сочное, молодое зерно. И мать и Федорыч кинулись обратно — бежали долго, покуда не очутились у первых изб Осташкина. Здесь Федорыч уселся на землю и заревел: в одном сапоге отлетела подметка — где-то зацепился.

— И про медведя забыл, — закончил Федорыч. — Мать в избу утащила за руку, а я все ревел. Собирался показать деду, бабке и многим, какие у меня сапоги, и не удалось. Материал-то гнилой был...

В ноябре дожди прекратились. С неделю постояла солнечная тихая погода. Потом ударили морозы, а к концу месяца выпал снег и земля стала белой.

— Хороша зима, хороша, — пел Федорыч, оглядывая свое хозяйство, — и кости не болят. Вот только строить хуже. Эх ты как стало: строим, строим — и все мало... Погоди, весна придет, а там лето. Опять горячка начнется. Весь четвертый квартал будем поднимать...

Хоть зимой работа проходит не так живо и бодро, как летом, но все равно незаметно летели

дни, недели, месяцы. И вот весна нагрелась. Однажды Картавин пришел утром на объект и Федорыча не нашел. За полчаса успел расставить все бригады, распорядился и пошел в прорабскую. Федорыч не появился. Инженер хотел позвонить в контору, но не позвонил. После обеда прораб тоже не пришел, и вечером Картавин отправился к нему на дом.

Открыла Надежда.

— Ой, это вы! — сказала она.

— Что с Федорычем?

— Он заболел.

Картавин разделся. В спальне, на стуле у кровати, на которой лежал Федорыч, сидела девушка в белой кофточке. Она поднялась и спросила:

— Это вы и есть Картавин?

— Да, я.

— Он все вас звал. Как забудется, так вас зовет.

Борис Дмитриевич подошел к кровати. Припухшее лицо Федорыча совсем посерело. Шея и грудь лоснились от пота. Дыхание едва-едва было слышно.

Картавин и девушка вышли и присели в столовой.

— Врачи были?

Девушка печально кивнула:

— Были... У него рана в боку открылась...

— Вы — Клава?

— Да. И знаете, как бы его уговорить, чтобы разрешил отвезти себя в больницу? Нужно постоянное наблюдение врача. А он не хочет. Вот вроде и забылся, а как тронут его — сразу приходит в себя...

Мальчик и девочка стояли у стены и смотрели на взрослых. Надежда прошла с тазиком в спальню и присела на стул, глядя на лицо мужа.

Клавдия заплакала. Картавин предложил ей пройтись по воздуху, покуда отец спит.

Утром следующего дня Картавин сбежал в больницу.

— Скажите, что с Кибиткиным? — спросил он у врача, осматривавшего Федорыча.

— А вы кто ему?

— Я работаю с ним.

— Видите... У него открылась старая рана, но дело не в ней — ее залечим. Общее состояние у него тяжелое. Я не представляю, как он мог работать до сих пор, да еще на строительстве. Буду ходатайствовать, чтобы в дальнейшем его к работе не допускали. Считаю, что я обязан это сделать...

Две недели спустя в прорабскую Картавина вошел Федорыч. Он поздоровался, уселся на лавку. Расспросил спокойно о делах. Затем сам прошелся по всему объекту. Уже не кричал и не шумел, а только косился и хмурился, если что было не по душе. Пригласив Картавина к себе пообедать, Федорыч молча поковылял с объекта к дому.

За обедом он говорил Борису Дмитриевичу:

— Упекли, брат, меня эти доктора. Теперь я пенсионер... Всю жизнь хоронился от них и влип. Но ничего, переждем маленько: Все, брат ты мой, как на войне: отступил на шаг, переждал — и двигай по-своему. Да-а... Так ты вот что: выполнять перегородки в кабинетах поставь все-таки бригаду Савельева. Он чисто сделает работу.

НЕОЖИДАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

1



полдень в конторе появился корреспондент и с полчаса сидел в кабинете начальника. Потом начальник вызвал к нему бригадира монтажников Геннадия Петровича Фролова.

Корреспондент сказал Фролову, что ему дали задание написать о нем очерк. Они побеседовали и договорились: Геннадий Петрович вечером набросает на бумаге «основные вехи» своей жизни, а потом уж корреспондент будет писать. После работы Фролов пришел в общежитие, помылся, поужинал в буфете и, вернувшись в комнату, взял чистую тетрадь и ручку.

Подобным делом ему еще ни разу не приходилось заниматься. Несколько раз он начинал предложение, но тут же зачеркивал

его. Испачкав два листа, Геннадий Петрович прилег на койку. Надо прежде обдумать план. Даже настоящие писатели составляют планы, а потом пишут. Как начать? С чего начать?

Он долго лежал, перебирая в памяти случаи из прожитой жизни. И неожиданно вспомнил то, о чем никогда не думал, что казалось давно забытым. Он вспомнил одно утро, после которого началась его настоящая жизнь. Детство, казалось, было давно. Очень давно. И потому Геннадий Петрович подумал о себе в третьем лице. Понаблюдав мысленно за собой, он отчетливо представил маленького Геню. Мать этого Гени работала мойщицей на Ленинградском механическом заводе. До войны она работала только в дневные смены. Но вот, сколько шла война, она через каждую неделю работала в ночь. А если ночью немцы обстреливали их район или бомбили, Геню уводила в подвал соседка Евдокия Михайловна. Сам Геня после долгой болезни ходил плохо: он пролежал в постели два с половиной года из-за ревматизма в суставах ног. До войны окончил один класс школы и заболел. Первое время лежал в больнице, в коленях страшно ныло, и доктора постоянно делали уколы. Позже страшные боли прошли, матери разрешили взять сына домой, и он пролежал все эти длинные месяцы, сложившиеся в года, у себя в комнате. Единственным занятием и развлечением были книги. Мать носила их почти ежедневно. Геня прочитывал книги быстро. И в конце концов книг скопилось много. Одни лежали ровными стопками вокруг кровати, Геня перечитывал их по многу раз и знал почти наизусть. Еще лежали книги на полках, на подоконнике, под кро-

вацию, по углам. И в коридоре в двух громадных фанерных ящиках лежали книги. Когда мать приходила с работы и, справившись с маленьким хозяйством, ложилась отдыхать, Геня всегда читал ей вслух или пересказывал прочитанное. Сколько он знал всего! Слушая, мать качала темноволосой головой и порой уходила в коридор поплакать. Мальчишка был умный, понятливый, что же с ним будет, когда он вырастет?

Геня знал, зачем выходит мать, и, когда она возвращалась к нему, успокаивал:

— Вот кончу болеть, — говорил он весело, — вырасту, выучусь, буду работать и буду приносить тебе много денег. Ты же будешь тогда старенькой.

— Да, сынок, — отвечала мать.

— Потом я женюсь, и заведем детей.

— Господи, — вздыхала мать.

Отца Геня никогда не видел, мать о нем ничего не говорила.

Едва началась война, Геня все просил книг о войне.

Надо было знать: кто такие фашисты? Зачем они напали? Какие бывают бомбы? Из книг он усвоил, что человек должен знать много-много и тогда жить будет легче...

С продуктами было плохо. Но Геня этого не замечал: за годы болезни он ни разу не испытывал голода и ел мало. Хлебнет несколько ложек супу, съест картофелину и сыт. От этого на душе у матери и больно, и спокойно. А иногда делалось страшно. Доктора говорили: после болезни наступят дни, когда мальчик почувствует голод. И будет есть все, что попадется. Они даже предупреж-

дали, чтобы первое время мать следила и не давала много съесть за один раз. Но дни шли, а Геня оставался равнодушным к еде. Мать уйдет вечером в ночную смену, он завесит окно, зажжет лампу и, прихлебывая горячий чай из кружки, читает, пока не уснет. Все дни и ночи у Гени слились в какой-то один длинный-длинный день. Прочитанное часто снилось. Действительность и эти сны перемешались. И казалось, что все вокруг, кроме матери, сон, но вот когда он вырастет, тогда то настанет не сон, а какая-то настоящая жизнь.

2

Потом Геня начал вставать.

Однажды он проснулся, и ему сначала показалось, что еще ночь. С вечера окно было завешано двумя одеялами. Он полежал с минуту неподвижно, прислушиваясь, затем отбросил одеяло и сел, свесив с кровати свои тонкие ноги, похожие на палки. По шуму трамвая и другим знакомым звукам, доносившимся с улицы, он понял, что уже день. Но почему так холодно? Он подошел к окну, приподнял одеяло. Потянуло морозом. Окна были разбиты. Подоконник занесло снегом. Многие окна противоположного дома тоже были без стекол. Он отыскал в углу старую фуфайку и заткнул ею разбитое окно. Затем торопливо оделся и дрожа постоял у двери, послушал. На кухне никакой возни не слышно. В замочную скважину тянуло холодом. «Который час?» — подумал он и посмотрел на стенные часы. Они стояли.

Геня взял топорик, лежавший в углу, наколот

у порога щепок от толстой сухой доски и растопил круглую чугунную печку, труба которой выходила в окно. Когда дрова разгорелись, он засыпал угля, поставил разогревать суп в кастрюле и, накинув на плечи пальтишко, уселся перед печкой. Неожиданно черные тонкие брови на его худом личике сошлись, а на лбу собрались морщинки. Сон ли это был или нет? Ночью стреляли зенитки, где-то совсем близко упала бомба, стены дрожали. В коридоре бегали, кричали и что-то таскали по полу. В дверь к нему кто-то сильно стучал, но голоса Евдокии Михайловны не было слышно, и он не отозвался. Нет, это был не сон! Он вспомнил: едва беготня в коридоре стихла, он повернул ключ и выглянул. В коридоре было темно. Вдруг совсем близко загрохали тяжелые шаги, и он, не успев замкнуть дверь, спрятался под мамино пальто, висевшее на вешалке. В комнату вошел незнакомый человек в полушубке, осветил фонариком и вышел обратно.

— Никого нет, — крикнул человек кому-то.

— Ну тогда все, — ответил другой голос.

Шаги удалились, он запер дверь на ключ и забрался под одеяло.

Припомнив это, Геня взял с подоконника книгу, подсел ближе к печке. «Где же мама? Почему ее нет?» — то и дело думал он, глядя на дверь и прислушиваясь. Между тем суп в кастрюле кипел, из-под крышки закапало на печку, запахло горелым.

Геня снял кастрюлю, поставил на стол и вдруг замер. Скрипнула входная дверь. Это мама. Но нет, шаги не мамыны, Они тяжелые, редкие, такие, как ночью.

В комнате Евдокии Михайловны что-то упало на пол. На дверь надавили.

— Кто там? — спросил Геня.

Минута тишины, и в дверь затарабанили.

— Кто там? — повторил он. — Мамы нет, я один дома. Это квартира Фроловой, вам кого надо?

— Мальчик, открой дверь! — приказал грубый голос.

— Я не могу этого сделать. Мама не велела открывать. Не дергайте ручку, она слабо прибита.

— Черт знает что, — выругался грубый голос, — мальчишка откуда-то взялся. Эй, Григорьев, иди сюда!

Приблизились еще шаги.

— Мальчик в комнате.

— Не может быть. Я ночью сам проверял — никого не было.

— Ну послушай. . .

В дверь застучали снова.

— Пожалуйста, не стучите, — Геня нагнулся и взял топорик, — я же вам говорю: мамы нет. Вы кто такие? Я больной. Подождите маму, она скоро придет с работы.

— Слушай, пацан, открой дверь! Дом может рухнуть, и ты погибнешь.

Геня не отвечал больше, он налил супу в тарелку и сел есть, раскрыв книжку перед глазами, топорик положил у правой руки.

В коридоре зашептались. Потом на дверь надавили, она затрещала. Геня отскочил к окну. И не успел взмахнуть топориком, как сильная рука выхватила его и швырнула под кровать.

— А ну быстро одевайся! — приказал ему военный в шинели. На шайке у него сидела красная звездочка.

— В чем дело? — прощептал Геня.

— Живо! Живо!

Один военный одел его, обул. Второй собрал в узел хлеб, вареную картошку. Его взяли на руки и понесли по темному коридору. До того момента он считал себя достаточно сильным, чтобы защитить свою комнату. Но когда несли, он почувствовал себя таким беспомощным, жалким существом, что от обиды заплакал. Не зная, что же делать ему, он только тяжело дышал и смотрел на шагающие сапоги.

Перед домом на другой стороне улицы стояла грузовая машина. В кузове сидели дети, у бортов стояли женщины.

— Примите еще одного, — сказал военный, подняв его, — и езжайте. Больше никого нет.

— Ой, какой легонький, — сказала женщина, — этот и есть Фроловой?

Кто-то ответил:

— Он болел долго.

В кузове было тесно, но для Гени нашлось местечко.

Шофер завел машину, она зафырчала, затряслась и покатилась. Мелькали заклеенные белыми полосами окна, заснеженные балконы.

— Куда мы едем? — несколько раз спрашивал Геня.

— Сейчас сядем в поезд и уедем туда, где не бомбят, — спокойно объяснила ему девочка рядом, — а когда война кончится, вернемся обратно сами или за нами приедут родители.

— Мама знает, что я еду? — спросил он ту женщину, которая усадила его.

Женщина кивнула.

— Да, знает. Она и сказала, чтобы мы тебя забрали.

Хотелось узнать подробности о маме. Но он сильно устал и скоро затих.

На вокзале детей ждали длинные зеленые вагоны. Геня пришел в себя, когда уже сидел на скамейке у окна. За окном толпились люди. Они кричали что-то, махали руками. Все скамейки в вагоне были заполнены, и дети тоже кричали, плакали, махали руками. Женщины, ехавшие с детьми, совершенно измученные, говорили:

— Ох, господи! Да когда же тронемся? С ума можно сойти!

Наконец вагон вздрогнул, закачался и покатился. Проводница разнесла детям горячий чай в кружках и раздала по кусочку хлеба с маслом. Рядом с Геней сидели два мальчика в одинаковых черных шубках. Напротив — еще мальчик и две девочки. Допив чай, Геня отдал кружку проводнице и стал думать о маме, о военных, своих книжках. За окном проносились белые поля, покрытые маленькими холмиками. Кое-где росли деревья. Пробежало мимо несколько домиков. Из одной трубы шел дым. От горячего чая в животе и в груди сделалось тепло. Он уснул. Проснулся ночью. Все спали в вагоне. В проходе на полу лежали взрослые люди. Ему захотелось поесть. Ах, как вдруг захотелось поесть! Казалось, в животе сидит какое-то злое существо и сосет кишки. Он достал из узелка хлеб, картошку и съел почти все. Захотелось пить. Он пробрался к проводнице и

попросил воды. Она подала ему. Потом он часто засыпал и просыпался. Стучали колеса под вагонами, и было темно. Потом было светло и все ребята смотрели в окно. А сопровождающие женщины сидели кучкой вокруг проводницы, и одна женщина плакала. В каком-то городе, названия которого Геня после не мог вспомнить, детей высадили на перрон. Построили парами и повели по улице в город. Дома в городе были деревянные. Около каждого дома росли деревья, обсыпанные снегом. Отряд привели в деревянный двухэтажный дом. Здесь ребят ждали. На втором этаже в комнатах стояли кровати с чистым бельем и печки были жарко натоплены. Мальчиков и девочек проверили еще раз по списку, свели в городскую баню. И начали они жить в детском доме.

3

В детдоме Геня был тихим, задумчивым, очень много читал и вечно голодал. За завтраком, обедом и ужином быстро съедал свою порцию. Продохнув и поморгав, озирался по сторонам, но просить ни у кого не просил. Если дежурный говорил: «Добавки хочешь, Геня?» — хватал тарелку и бежал на кухню. Но не заикнись о добавке дежурный, сидел молча и так же молча вставал из-за стола.

Местные школьники подарили детдому маленькую библиотечку. Но найти тихий, укромный уголок было трудно, и Геня повадился ходить в маленькую пристройку к сторожу Павлу Филиппычу. Сторож возил воду в бочке, колол дрова, а жил

вдвоем с женой, работавшей уборщицей в городской школе. Обычно днем комнатка Павла Филиппыча пустовала, Геня сидел там около плиты и читал. Со второго полугодия ребят начали водить в школу. Геню определили в третий класс. Русский язык он знал хорошо, а вот по арифметике получал двойки. Когда вызывали к доске, он брал мел и стоял, не зная, как решить пример.

Учитель спрашивал:

— Ну, опять в молчанку играть будем?

Геня только ниже опускал голову.

— Очень хорошо, — продолжал учитель, — стой, пока не произнесешь хоть слово. Кто ответит на этот вопрос? — обращался учитель к классу.

Многие отвечали. А Геня стоял и не слышал, что отвечали. Едва прозвонит звонок, поскорей убегал из класса. Его прозвали Молчуном. Наконец слух о двойках по арифметике дошел до заведующей детского дома. Состоялась беседа с ней, и его перевели во второй класс. Здесь он был больше всех ростом и получил прозвище Верзила. Но зато у себя в спальне Геня находился на особом положении, он много знал книг, любил рассказывать, и часто мальчишки в спальне не спали всю ночь. Сидели, укутавшись простынями, смотрели на него, а он рассказывал. Свет луны падал в окно, за окном трещал мороз, голубоватый снег поблескивал искрами. И утром ребят не могли разбудить.

Молва о знаменитом рассказчике дошла даже до старших групп.

Однажды к Гене в палату забежал мальчишка, по имени Севка. Этот Севка был бойкий и драчливый. Послушав Геню один вечер, Севка начал

ходить часто. И как-то разыскал Геню, когда он сидел в комнате Павла Филиппыча. Севка присел на стул и попросил что-нибудь рассказать.

— О чем?

— О собаках.

Геня рассказал про Муму.

Севка выслушал и, ни слова не сказав, убежал. А на другой день после школы снова пришел к нему.

— Читаешь? — спросил Севка.

— Читаю и думаю, — ответил Геня и посмотрел на замерзшее окно.

— А что думаешь?

— О маме, о Ленинграде, — сказал Геня.

— Ты где там жил?

— На Гаванской.

— А я на Лиговке.

Севка подошел к двери, выглянул в коридор, плотно прикрыл дверь и снова присел.

— Ты тихий и умный, — заговорил он шепотом, — а я бедовый и никогда не болел. Со мной не пропадешь. — Пошарив рукой в кармане, Севка достал кусок белого хлеба.

— Хочешь?

— Ешь сам.

— Бог велит все пополам делить, — сказал Севка и отломил половину куска, — держи. Давай с тобой дружить?

— Со мной ты не будешь дружить. Я ведь не такой, как все. Баловаться я не люблю. Ты со мной будешь скучать. У нас разные характеры.

— Это ничего. Ты послушай меня: давай сбежим?

— Куда?

— В Ленинград.

У Гени даже рот раскрылся. Этого он никак не ожидал.

— Полезли на чердак и поговорим, — предложил Севка.

На чердаке было холодно, но совещались до вечера. Ночью снилась мама. Она бегала по холодному коридору квартиры, заглядывала во все комнаты и звала: «Геня! Геня!»

Бежать решили, когда потеплеет. Такое время наступило, и в одну из ночей заговорщики исчезли из детдома. Проводником был Севка. На вокзал они пришли в потемках. Сидели в маленьком скверике, в кустах, покуда не рассвело. Только утром к станции подошел темный пыхтящий паровоз.

— Товарный! — шепнул Севка. — Бежим!

Они пробежали через перрон и вскоре сидели в тамбуре запломбированного вагона.

— Ты со мной не бойся, — успокаивал Севка, — я на пригородных катался, и ничего. А на тех страшней: проводники то и дело ходят по вагону, а здесь никого нет. Через день-два будем в Ленинграде.

Вагоны вздрогнули, стукнулись и спокойно покатались.

Едва пригрело солнышко, забрались на крышу и растянулись там на животах, держась друг за друга.

Геня глядел по сторонам и чуть ли не дрожал от восторга. Фух ты! Хорошо рассказывается в книгах про леса, поля, но видеть своими глазами! Здорово!

— Это что, Севка? — спрашивал он.

— Овраг, а за ним лес.

— Неужели то лес?

— Лес, тебе говорят. А вон то птица — коршун.

Остался позади овраг с белыми скатами. Сразу же от железной дороги тянулось к горизонту гладкое зеленое поле. Трава на нем густая, короткая и везде одинаковая. Похоже было, будто это не поле, а громадный ковер. А горизонт! Вот он, настоящий горизонт. Синий, прозрачный и чистый. На нем появлялась какая-нибудь темная кромка. Кромка кончалась, и снова простор. Гене захотелось побыть птицей и полетать. Он вздыхал глубоко, смахивал с глаз слезы, выступавшие от встречного ветра, и жмурился.

— Река, — подсказывал Севка.

Далеко впереди, поперек поезду, вилась серебристая лента. Потом от паровоза разнесся по вагонам гул. С грохотом, лязгом проехали по длинному железному мосту. Ближе к мосту вода в реке была голубоватая, дальше темная, а еще дальше серебристая. Река осталась позади, начался лес. Он подступил с обеих сторон к железной дороге, и похоже, что где-то впереди сомкнется и паровоз застрянет в деревьях. Захотелось глянуть вниз, но оттуда ударило в лицо пылью, и Геня прижался к крыше. Пронеслись мимо две маленькие станции. На одной из них вокзал был разбит. Из-за разрушенных стен тянулся к небу черный дым.

— Бомбили, — сказал Севка.

— А как нас начнут бомбить?

— В нас не попадут. Вокзал на месте стоит, а мы быстро едем.

Незаметно солнце скатилось за горизонт, стемнело. Они продрогли, поели хлеба с котлетами и,

укрывшись одеялом, задремали. Оба не слышали, как вагон замедлил ход и остановился.

— Это что здесь такое? — разбудил их чей-то голос. В глаза светили фонариком.

— Сюда, — шепнул Севка и бросился по крыше прочь от фонаря. Геня тоже вскочил на ноги, но сильная рука ухватила за куртку.

— Совсем зайчонок, — проговорил в темноте над головой голос, — второго утром поймаем. Спустим собак, они не дадут сесть. Куда этого денем?

— В кутузку, — завтра Леонтьевой сдадим. Такие по ее части.

Вели Геню по перрону мимо людей с большими собаками.

— Можете спускать, — сказал кто-то.

Собак спустили. И те с ревом бросились к вагонам и начали бегать вдоль состава.

В кутузке было темно. Пахло мышами, чем-то кислым. Под самым потолком едва светилось окошко, заделанное решеткой. В темноте Геня натолкнулся на лавку, стал на нее, ухватился за решетку руками и потянулся. В соседней комнате за столом сидели два железнодорожника, играли в шашки. «Поймают ли Севку, — размышлял Геня. — Если поймают, то утром приведут сюда. Нужно только не говорить, откуда едем, иначе вернут обратно».

Спать на лавке было жестко. Но он спал крепко. А утром стоял в соседней комнате перед столом, за которым сидела женщина в милицеейской форме. Рассказал ей, что живет в Ленинграде, что у него там мама и что едет к ней.

— Откуда едешь?

— Это тайна. Я сказать не могу.

Женщина билась с ним долго, призывала милиционеров, военных. Все они и ласково говорили, и запугивали.

— Ты же пойми, — твердили ему, — сейчас военное время. В тамбуре тебя могут подстрелить, как зайца. Лучше скажи, откуда сбежал, и мы отпустим. Даже в вагон посадим.

— Вы говорите мне неправду, — спокойно ответил он, — я не дурачок. В вагон вы меня не посадите, а постараетесь вернуть туда, куда я не хочу ехать. Стрелять в меня никто не будет. За что в меня стрелять? Я же рассказываю — чей я, откуда родом. Я не понимаю вас.

Его отвели в местный детский дом. Там он узнал, что здесь Ярославская область, что до Ленинграда отсюда далеко. И к тому же в Ленинграде фронт. Гораздо ближе до Москвы, но там тоже фронт. Дальность расстояния не смущала: путешественники не такие расстояния преодолевают. Мысль же о маме и о комнате с книгами сидела в мозгу как заноза. Пытался подговорить некоторых ребят к побегу в Ленинград, но ленинградских не было, и над ним посмеялись. Тогда Геня начал читать книги про разведчиков. О том, как они переходят фронт и как вообще ведут себя в дороге. Выходило, что почти все разведчики пробираются пешком, изредка просясь на попутные машины и подводы. Наконец в голове план созрел полностью, и после этого пришла решимость.

Возвращаясь как-то из школы в детдом, он не свернул на улицу с высокими тополями, спустился к вокзалу и, стараясь быть спокойным, пошел вдоль железной дороги по тропинке. Едва при-

город остался позади, уселся под кустом, снял ботинки и бросил их в куст. Фуражку зарыл в землю. Продукты из портфеля достал, завязал в узелок и двинул дальше нищим. Теперь никто его не задерживал. Разведчики всегда обходили большие города, и он обходил их. Путеводителями служили в основном два слова: «Москва» и «фронт». Слово «Москва» читал на дощечках, прибитых к столбам, слышал из разговоров. Слово «фронт» тоже слышал и еще читал его на бортах машин. Ночевать просился в избы.

Так дней пятнадцать прошли без особых происшествий. Конечно, он уставал в первые дни, но потом привык. По ночам, там, где садится солнце, слышался гул, и Геня решил, что фронт близко.

4

В один из дней он шел лесным проселком. Деревни ему не встречались. Незаметно стемнело. Куда идти? Подул ветер, зашелестели листья деревьев. Он припустил бегом, бежал долго и совсем сбился с дороги. Но не сидеть же было в лесу. И он бросился бежать наугад. Сердце колотилось сильно, не хватало воздуха. Вдруг в стороне мелькнул огонек, фыркнула машина. Что-то рвануло штанину, впилось в ногу и в живот. Колючая проволока. Подлез под нее. Мимо проползла машина, на миг осветила фарами землю, свет погас, и машина умчалась. Где-то прокричал человек. Геня хотел побежать на человеческий голос, как вдруг впереди взвился в небо косой столб огня, земля колыхнулась, и страшный грохот придавил его

к земле. Он закрыл глаза, заткнул уши пальцами, упал на землю и затих. . .

Очнулся в землянке на топчане. У стены были сложены ящики. Рядом с ними на кровати, сделанной из досок, лежал человек в военной форме. Волосы у человека рыжие, короткие, голова большая. Рыжие усы, толстый нос, над закрытыми глазами белые пучки бровей.

— Куда я попал? — прошептал Геня, глядя на человека.

Маленькие глаза у военного раскрылись, он сел.

— А, проснулся! Долго же ты спишь. Я не дождался, пока ты очнешься, и тоже вздремнул.

Военный встал и едва не уперся головой в бревно потолка.

Это был старшина батареи артиллерийского дивизиона тяжелых дальнобойных орудий. Старшину звали Петром Васильевичем Андриановым. Несколько дней назад дивизион прибыл на это место, окопался и в прошедшую ночь открыл огонь по врагу. Сам Петр Васильевич с вечера находился у старшины соседней батареи. После первого залпа Андрианов отправился в потемках к себе и по пути чуть не наступил на что-то лежащее у куста. Старшина думал, это дохлая собака. Но при очередном залпе орудий понял — на земле лежит человек. Андрианов поднял его, послушал сердце и снес в свою землянку. Беседовали они долго. Вначале задавали друг другу вопросы, потом задавал только Андрианов и, слушая ответы, чмокал своими большими губами и качал головой.

Старшина был родом из Орловской области. Уходя на войну, оставил там троих детей, жену.

Орел находился в руках фашистов. Старшина постоянно думал о своих родных. И бездомный худалый мальчик с серьезным лицом, с речью взрослого человека нагнал на него тоску.

То, что старшина не выспрашивал все, как милиционер, а просто слушал, покачивая головой, подбодрило Геню. Он решил, что здесь скрывать нечего, и рассказал все начистоту.

— Плохи, брат, дела, плохи твои дела, — говорил старшина, прослушав рассказ, — фронт тебе, Геня, не перейти. Это уж точно. Погибнешь там, как комар на огне, и дыма никто не заметит.

Андрианов рассказал, что Ленинград окружили и сейчас туда не пробиться.

— Самое верное, надо переждать, — советовал он. — А как прогоним фрицев, тогда и поезжай к матери.

Поговорив, сходили они к походной кухне. Худой, похожий на журавля с картинки, повар налил Гене в котелок борща, в крышку от котелка наложил макарон с мясом. Все было очень вкусно.

Потом весть о поселившемся в батарее мальчике разнеслась среди артиллеристов. Больше того, все видевшие его говорили, что мальчик на редкость странный. Рассуждает как взрослый, прочитал уйму книг и беседует на любую тему. Солдаты и младшие офицеры изредка приходили в землянку старшины и хохотали там, слушая «философа», как они окрестили Геню.

В одну из суббот в расположение батареи приехал командир полка полковник Киреев. Он приехал в час отдыха. Солдаты и офицеры купались на озере. И когда дневальный крикнул во все

горло: «Дивизио-о-н, смирно!», только двое дежурных и часовых стали навтыяжку. День был солнечный, тихий. Полковник обошел орудия и двинулся вдоль землянок, изредка заглядывая в них. Дневальный шел следом. Подходя к землянке старшины, полковник услышал взрыв хохота. Он удивленно взглянул на дневального, спустился по ступенькам и открыл дверь. На коротком толстом чурбаке, лежавшем посередине землянки, сидел худенький черноволосый мальчишка. Руки у мальчишки сложены на груди, а глаза внимательно осматривают окружающих его солдат и офицеров.

— Ну ладно, — говорил младший лейтенант Авдеенко, сдерживая смех, — вот ты говоришь: Анне Карениной не давали покоя, преследовали ее, не пускали гулять, ругали ее и в конце концов отняли ребенка. Поэтому она бросилась под поезд. Но скажи: разве она права в том, что обманывала своего мужа?

— Если человека не заставлять жить так, как он не хочет, он и обманывать не будет. Я же Петра Васильевича не собираюсь обманывать.

Все засмеялись.

Кто-то заметил полковника и крикнул «смирно!»

Полковник махнул рукой, сказал «вольно» и присел. Ему батарейный уже докладывал о мальчишке, и он тогда ответил: «Ладно, пусть пока поживет, откормится».

Поговорив с Геней, полковник, уходя, приказал дневальному:

— Передайте старшине — надо одеть мальчишка по форме, Неудобно так.

Эти слова окончательно решили Генину судьбу. В воскресенье он со старшиной съездил в соседнюю зенитную батарею. Там солдатами были одни женщины. Ему нашли сапоги, гимнастерку, и вернулся он в свою батарею уже форменным солдатом. А вечером старшина сидел за столом с ручкой в руках. Перед ним лежал свернутый вдвое лист анкеты. Геня сидел напротив, привинчивал к пилотке звездочку.

— Значит, так, — говорил Петр Васильевич, — теперь, Фролов, ты солдат. Поставим тебя на довольствие. Присягу давать еще молод, но пока и без нее поживешь. А дело найдем тебе. Может, майор вестовым возьмет, может, в штаб заберут, а может, у нас останешься. Пока затищем... Звать Геннадием. Отчество?

Геня пожал плечами.

— Не знаю. У меня его нету.

— Гм... Что ж, и не помнишь, как батьку звать?

— Я ни разу не видел его.

— А в метрике не смотрел?

— Нет, не смотрел.

— Да-а.

Старшина походил по землянке.

— Вот что, Фролов, — сказал он, — у меня сыновья Петровичи, так как я Петр. Хочешь быть Петровичем? Раз отрубил — и на всю жизнь тебе полное имя.

— Давайте, Петр Васильевич, — согласился Геня, — буду теперь Геннадием Петровичем.

Подсчитали возраст Геннадия Петровича, для порядка увеличили на два года и покончили с анкетой.

В свободное время старшина ходил гулять с Геннадием Петровичем. Так стали звать его все на батарее. Да Геня и сам отвечал на вопрос: «Кто идет?» — «Гвардии рядовой четвертой батарееи второго дивизиона Геннадий Петрович Фролов».

Впервые так отрекомендовал он себя высокому толстому генералу во время осмотра личного состава. Геня стоял самым последним в шеренге. Генерал шагал в сопровождении трех офицеров медленно. Изредка останавливался, что-нибудь спрашивал у солдат, выслушав ответ, кивал и шагал дальше. Дошла очередь до Гени. Генерал на секунду замер. Командир батарееи хотел что-то доложить генералу, но тот бросил коротко:

— Кто такой?

— Гвардии рядовой четвертой батарееи второго дивизиона Геннадий Петрович Фролов!

В напряженной тишине ответ прозвучал чисто и звонко.

Брови у генерала сошлись, в глазах юркнула усмешка. Взглянув на батарееиногo, генерал круто повернулся и попрощался.

После команды «разойдись» то и дело слышалось:

— Геннадий Петрович!

— Геннадий Петрович! Молодец! Ты хоть моргнул или нет? ..

Батарея стояла в березовом лесу. Для каждого орудия вырубали по полянке, между полянами росли кусты и деревья. Так что если стоять около одного орудия, то второго не видно.

Солдаты ходили купаться за лес к маленькому

озеру с прозрачной чистой водой. За озером тянулись большие поляны, поросшие травой, а за полянами снова начинался лес. Геннадий Петрович изредка ходил со старшиной на поляны за ягодами или в дальний лес за грибами. Петр Васильевич при разговоре с ним часто качал головой и приговаривал: «Ах, Генька, Генька... Геннадий Петрович, много всего знаешь, а что вокруг тебя, чем живет человек и что под ногами у него — не знаешь».

Заведет речь старшина о деревенской жизни — и сразу надо отвечать на вопросы: «А что это такое?»

— Вон видишь, трава кистью растет. Так вот, это не трава, — просо колосится.

— А что такое просо?

— Пшеничную кашу ел?

— Ел.

— Просо обрушат, и вот получается пшено. Как и гречиху, надо рушить.

— А гречиха что такое?

— Ах ты философ, философ...

Начинались объяснения.

Удивлялся Петр Васильевич. Еще бы! Звенел в воздухе жаворонок песней, подолгу держась на одном месте. Геннадий Петрович смотрел на него, спрашивал:

— Зачем он так подолгу с песней на одном месте держится?

Старшина оглядывался, смотрел на нетронутый луг, по которому пора бы давно второй уж раз пустить косу.

— Для нас, видно, Геннадий Петрович, — говорил он задумчиво, — вот война идет, грохот

стоит. А наступила тишина, жаворонок и поет... Для нас поет, Геннадий Петрович...

К осени батарея перебазировалась ближе к фронту. Уже не только ночами, а и днем доносились из-за горизонта промовые раскаты боев. Ждали холодов, наступления. Батарея то стреляла чуть ли не круглые сутки, то молчала. Часто переезжала с места на место. Тягачи зарывались в раскисшую землю. Солдаты выбивались из сил, мокли. А жить на каждом новом месте приходилось в палатках, вблизи жилья дивизион не закреплялся. Геня переносил тяготы вместе со всеми. Он окреп и ни разу не болел, только изредка ныли колени и ломило в суставах.

Наконец ударили морозы, выпал снег. Однажды Геня проснулся гораздо раньше общего подъема, оделся и вышел из палатки. Батарея стояла в редком сосновом бору. Одетые в чехлы орудия притрушены снегом. Земля белая. Он прошелся перед палаткой и вдруг почувствовал слабость во всем теле. Вернулся в палатку. За завтраком ничего не ел, выпил чая. Днем ходил сонный и к вечеру слег. Старшина привел врача. Тот осмотрел и велел срочно отвезти больного в госпиталь. У Гени поднялась температура, и врач боялся воспаления легких.

— Как тебя завернуло, — качал головой Петр Васильевич на следующий день, складывая в карман выправленные бумаги Геннадия Петровича, — но ничего. Подлечишься и снова к нам возвращайся.

— Обязательно к вам, старшина.

До ближайшей станции ехали на машине километров пятнадцать. Там сели на поезд до Влади-

мира, где находился госпиталь. В вагоне народу было мало. На какой-то станции среди ночи поезд остановился. Сказали, что дальше не пойдет: разбомбили путь, чинят его. Геня и старшина покинули вагон, раздобыли кипятку на вокзале, поели. Старшина отправился к коменданту вокзала, а Геня прилег на полу среди каких-то мешков и уснул. Уснул он крепко. Потом снилось что-то страшное. Вроде рвались снаряды, кричали женщины. Его толкали, и кто-то даже наступил ногой. Хотелось раскрыть глаза, узнать, в чем дело, но он никак не мог открыть веки. Очнулся от холода. Поднял голову, сразу же стукнулся обо что-то. Пошарил руками. С одной стороны стена. С другой — какие-то доски. Над ним низкий дощатый потолок. Голоса людей. Шаги. Кто-то заплакал и тотчас закричал пронзительно.

— Люди! — крикнул Геня. — Люди!

По доскам застучали, и совсем рядом голос сказал:

— Кажется, здесь.

— Да, здесь! Я здесь! — крикнул он.

Ему показалось, что низкий потолок начал опускаться на него.

Вверху торопливо работали, и вскоре Геня стоял покачиваясь и оглядывался.

Окна в вокзале были вырваны вместе с рамами. Там, где вход, — груда камней. Двое военных пронесли на носилках женщину.

Подошла девушка в черном пальто, с красной повязкой на рукаве.

— Ты ранен?

— Нет.

Геня прошел на перрон. Здесь две громадные

воронки. По одну сторону от них кладут раненых, по другую — мертвых. Старшины нигде не было. Раненых и убитых увозили на машинах и лошадях. Весь день он бродил у разбитого вокзала, спрашивал о старшине. Вечером объявили: поезд на эту станцию не придет. Кто хочет ехать, пусть добирается до какой-то Семеновки. Люди с узелками, мешками потянулись по путям. Он тоже прошел немного с толпой, но вернулся. Может, старшина ищет его? Может, отлучился куда, вернется, а его нет?

Стоило показаться в отдалении какому-нибудь высокому военному, и Геня бежал к нему — не старшина ли? Наступила ночь. Геня продрог, устал, хотелось есть. Люди все куда-то исчезли. За железнодорожным полотном, рядом с кучами шлака присел с подветренной стороны. Стало теплее. Виднелась разбитая станция, перрон. Он сидел и смотрел: не появится ли старшина. Когда на небе зажглись звезды и совсем стемнело, он уснул...

Геннадия Петровича и теперь клонило ко сну. Он никак не мог припомнить: каким образом и куда он попал с разбитого вокзала? Жил он потом снова в детдоме, в Ленинград не добрался, мать его там умерла, в последний год войны он работал в железнодорожных мастерских во Владимире, потом уехал на стройку в Казахстан, где монтировали опоры под трубопровод... Все это казалось ему обычным, а воспоминания о детстве вряд ли заинтересуют корреспондента.

ТОЧКА

1



се четырнадцать нагрянули одновременно и совершенно неожиданно для дежурившей в эти часы тети Маши.

С топотом, шутками, смехом, пахнущие тайгой, ворвались они в проходную гостиницы и забросали дежурную вопросами:

- Какая плата?
- Горячая вода есть?
- Буфет?

Очень просили разместить всех в одном номере. Их было четырнадцать, а в свободной комнате стояло только тринадцать коек. Но пока дежурная объясняла, размахивая руками, приехавшие уже притащили кровать из соседнего номера.

Тетя Маша хотела заругаться, но промолчала: уж очень



одежда у приезжих была оборвана и лица у них заросли бородами.

Как появились внезапно, так и исчезли, оставив под кроватями рюкзаки и ружья в чехлах, забрав мыльницы, зубные щетки и полотенца.

Тетя Маша сложила паспорта в железный сундук, заперла его, подергала за крышку и пошла в служебную комнату, на дверях которой было написано неровными буквами: «Посторонним не входить».

— Кто это там шумел? — спросила тетю Машу девушка лет шестнадцати-семнадцати. Она сидела с ногами на кровати и читала книгу.

— Да вроде и не кержаки, а бородатые и ободранные. Видимо, токмо из тайги пришедши, буйные, из второго номера кровать перетащили! А ушли и не замкнули номер.

И, повернувшись к девушке, заговорила уже другим тоном:

— Нужно будет во второй номер из десятого перетащить кровать, не то горбоносый опять придет сюда рыкать медведем. С дядей Федей перенесешь.

Смена тети Маши кончалась, и она оглядывалась: не забыла ли чего?

Уходя, сказала:

— Лена, если будут баловать или мурыжничать, скажешь дяде Феде, он их угомонит.

Дядя Федя топил печи в этой маленькой гостинице, представлявшей собой двухэтажный деревянный дом серого цвета, убирал двор. Когда привозили продукты в буфет, он всегда являлся и помогал вносить ящики. Правда, последнее не вхо-

дило в его прямые обязанности, но с буфетчицей у них были свои счета.

— Хорошо, — сказала Лена, выслушав тетю Машу, и посмотрела на часы. Стрелки показали шесть — ее смена началась.

В гостинице большей частью останавливались люди спокойные. Одни жили только ночь, другие день-два, а то и неделю и уходили, не оставляя на память ничего, кроме окурков, кусков хлеба и пустых бутылок. На их место прибывали новые. Сколько их было... Некоторые лица надолго врезывались в память Лены, большинство же не оставляло никакого следа. Например, недавно жил у них толстый-претолстый дяденька. Его Лена прозвала Местамало и в разговоре употребляла это имя для сравнения.

— Ой, тетя Маша, он как Местамало!

Или так:

— Ну нет, что вы, вспомните Местамало — это да!

Она широко раскрывала большие глаза, вскидывала тонкие бровки и, разведя в стороны руки и став на цыпочки, показывала, какой он, этот Местамало, и толстый и высокий.

В обязанности Лены входило: отбирать паспорта, принимать плату (обязательно за сутки вперед!), подметать пол в номерах, вытирать пыль, менять воду в графинах, выдавать книги из библиотеки, которая уместалась у нее на столе и которую она всю прочитала, менять постельное белье и стелить постели.

Останавливались и плохие жильцы. Требовали того, чего не было, ворчали и потом бродили хмурые.

Были такие, что приходили пьяными и ругались, пели после двенадцати песни. Лена тогда убегала к себе в комнату, а к шумевшим шел не спеша дядя Федя. Он решал все на месте без милиции. Как это он делал, Лена не знала и все собиралась подемотреть, но каждый раз даже боялась подойти к двери, за которой ругались и слышался голос дяди Феде.

Дядя Федя зимой и летом ходил в валенках, потому что ноги у него были застужены, носил бороду, был высокого роста и имел очень длинные руки, как оглобли. Буйные его побаивались, а буфетчица относилась к нему с большим вниманием. Тетя Маша за глаза иногда поругивала дядю Федю и буфетчицу, но за что — Лена не могла понять. А когда однажды спросила:

— Тетя Маша, за что вы вчера ругались на дядю Федю и Марию Степановну? — та махнула рукой и сказала:

— Кто ругался? Я не ругалась, я так. Иди второй подмети.

Был восьмой час вечера, а в первый номер еще никто не пришел. Лена становилась на носочки и заглядывала через стекло двери: койки были пусты. Она уже просмотрела паспорта и узнала, что все четырнадцать были из ленинградского института.

— Студенты, — решила Лена, замыкая сундук, и, сама не зная чему, обрадовалась.

Городок, в котором стоит гостиница, маленький. Кругом тайга, до железной дороги километров триста будет. Стоит он на берегу Енисея. Есть здесь пристань для речных пароходов, есть школа, есть музей, стадион. Весь городок можно на своих

двоих пройти вдоль и поперек за два часа. Есть кинотеатр. Но будущее городка незавидное: говорят, что его скоро снесут, потому что когда Енисей перегородят плотинами, то вода поднимется и это место зальет. Городские ребяташки радуются этому, взрослые молчат: надо — так надо, а вот старики ворчат.

2

Лена обошла номера. Спросила, не нужно ли кому книг почитать. Вновь прибывших пригласила в буфет и отправилась к себе в комнатку.

Читала и прислушивалась.

В одиннадцатом часу хлопнула дверь. Застучали каблуки, послышался смех, кто-то один гоготал громче всех и, оборвав разом смех, сказал довольно:

— Борька, ну и поспим же, как в общежитии в начале семестра!

Лена прислушивалась, но больше ничего не услышала. Дверь была закрыта, и из-за нее доносился тихий и редкий разговор.

А за дверями первого номера стелили постели, обменивались впечатлениями от бани. Студент с рыжей бородой бухнулся на чистую простынь и просиял.

— Ребята, эй, хлопцы, — протянул он, — да это же невероятно, ух, смак как хорошо! Борька, слышишь, Борис, я сейчас только понял, что такое чистая простыня! Борька, у тебя голова кружится?

— Нет, хотя да, немного. Вино паршивое, —

ответил из-под одеяла студент, который лежал на соседней койке.

— Инженер сказал, что завтра не уедем: машины нет. Дня три жить будем.

— Ну и поживем...

Все скоро уснули. Из-под чистых пододеяльников торчали лохматые макушки, бородки. Казалось, что вся комната дышит, дышит ровно и здорово.

Легла и Лена. Платянице ее висело рядом на спинке стула — только протянуть руку. Туфельки на низких каблучках стояли наготове: мог кто-нибудь ночью приехать. Заснула Лена не сразу. Сначала легла на левый бок, потом на правый; полежав так, почувствовала, что ей неудобно, и легла на спину. Подушка уже слишком съехала. Лена стала на колени, тонкими руками ухватила ее, поставила на ребро и придавила.

Но все равно было неловко, и заснуть Лена не могла. Зажгла свет, взяла со стола зеркальце и посмотрела в него. Улыбнулась, вытянула губки, прищурила один глаз, потом второй, закрыла оба глаза и открыла, положила зеркальце на стол и задумалась. О чем она думала? — спросил бы кто-нибудь сейчас, и не ответила б, только раскрыла б шире глаза и смотрела на спрашивающего удивленно.

Мысли пробегали по-беличьи беспокойные, и внимание ни на чем не останавливалось. Встала, погасила свет, походила босиком по комнате, открыла дверь в коридор и прислушалась: везде было тихо. В первом номере кто-то храпел. Лена подошла к стулу, оделась и вышла. Около четвертого номера остановилась. Кто-то разговаривал во

сне, послушала, но ничего не разобрала. Вернулась к себе в комнатку, не зажигая света, разделась и снова легла спать.

Сон на этот раз пришел почти мгновенно. Мягко закрыл ей глаза, в сладком покое подогнул колени почти к груди, дохнул на нее нежным теплом кровати, и Лена уснула.

Она была местная. Родилась в деревне, километрах в шестидесяти от города. В небольшой, снаружи темной и чистенькой, беленькой внутри избе. Росла не боля, но была очень худенькая. «В кого она такая уродилась?» — говорила мать. И действительно, отец был крупного сложения и здоровый, мать низенькая, но здоровая и сильная женщина. Жили в тайге, а тайга только сильных уважает.

Отца забрали на фронт, и Лена больше его не видела — он погиб.

Сейчас она помнила отца всегда одетого в меховую шапку и с ружьем.

Пять лет назад, в 1949 году, мать умерла, и Лена осталась одна с бабушкой. В городе жила вторая бабушкина дочь, тетя Маша. К ней они и переехали через месяц после смерти матери.

Лена ходила в школу. Тетя Маша работала в гостинице. Когда Лена окончила семь классов, пошла работать вместе с тетей Машей.

Тетя Маша побаивалась вначале за свою приемную дочь: уж слишком она была худенькая и тихонькая. Не будут ли ее обижать? Народ ведь такой — и на шумит, и выругается. Но месяц прошел — успокоилась. Работа Лене не очень утомляла. В книге отзывов и пожеланий стали появляться благодарности ей, Лене. Дядя Федя Лене

очень уважал и старался не следить в проходной во время ее дежурства своими валенками и не сорить махоркой.

Дом, в котором жила Лена с тетей Машей и бабушкой, приютился в трех кварталах от гостиницы. Время сдвинуло крышу набок, да так и оставило, и он смотрел слезящимися от вечных дождей окнами, похожими на глаза бабушки. Лена боялась ходить поздно вечером и рано утром, когда людей не было видно, поэтому брала себе ночные смены. Тетя Маша тоже советовала работать в ночные смены, они спокойнее и легче дневных.

Иногда, если Лена запаздывала, за ней по доброй воле отправлялся дядя Федя, а уж с ним она ничего не боялась. Он рассказывал про такие случаи из своей жизни, что Лена считала его очень сильным.

Так она и жила.

3

Борис проснулся раньше всех. Все ребята спали. Кто скомкал одеяло и спал под одной простыней, а Игорь Бакучев скинул во сне с себя и простынь. Приятно пахло чистым телом, чистой наволочкой. Вставать не хотелось, и спать не хотелось.

Вдруг дверь скрипнула. Вошла девочка в белом передничке и настороженно, как ворюшка, остановилась. Глаза ее пробежали по спящим. Быстро подошла к столу, взяла обеими руками полупустой графин и неслышно, поспешно выпорхнула из комнаты.

Борис приподнялся на локтях и сразу же снова лег.

Девочка опять вошла, прошла к столу и поставила на стол графин, полный воды. Опять неслышно выскользнула из комнаты и вернулась, держа в левой руке тряпку и в правой — швабру, которая была выше ее сантиметров на пятнадцать. Швабру поставила у двери и стала протирать тряпкой окна. Затем вытерла стол, стулья, смела в кучку валявшиеся на полу бумажки, взяла из угла фанерку и, собрав на нее сор, вышла.

Минут пять в комнате стояла тишина. Потом девочка опять появилась у дверей и, наклонившись чуть вперед, сказала негромко, чистым голосом, глядя в окно:

— Пора вставать, уже двенадцать часов, — и замолчала, как будто удивленная своими собственными словами.

Ответом было молчание. Только пылинки в лучах перемещались в вечном беспокойстве, да и то бесшумно.

— Товарищи, уже двенадцать часов, и пора вставать, — громче сказала Лена и сделала шаг вперед.

Борис сел голый по пояс.

— А если мы не желаем? — спросил он.

— Так вы что, до вечера будете спать, а потом что? Шуметь? У нас после двенадцати должно быть тихо.

Борис смотрел на хорошенького, неизвестно откуда взявшегося наставника и в открытую улыбался.

— Да и у вас, наверное, дела есть, — продолжала Лена, — и мне убрать надо, сегодня пол буду мыть.

В голосе ее прозвучали нотки просьбы и оправдания.

— Нет! У нас сегодня никаких дел по расписанию, и мы, если пожелаем, можем спать весь, весь день, — весело сказал Борис и добавил: — А потом и ночь. Мы это умеем. Вот посмотрите, — Борис указал на соседа, — Игорь Бакучев — историческая личность. Да. Если будут когда-нибудь труды о том, сколько студент может проспать, так сказать, за один присест, то обязательно его отметят: он перед стипендией может спать по двое суток. У него организм подчинен мозгу, мозг — желудку, сила воли у него большая.

Лена слушала. Хотелось смеяться, но она не смеялась, думала: шутит или не шутит?

А Борис, стараясь удержать ее в комнате, говорил:

— Да и вы немного не правы. Разве есть закон или ну правило там, что ли, которое запрещало бы спать днем? По-моему, так и вам все равно: находится ли мое тело в покое или в неравномерном движении. Вам обязательно пол мыть? Это пока для нас слишком! Мы за три месяца привыкли к такому полу, что этот пол кажется лично мне идеально чистым... А вы кто? — внезапно переменял он тон.

— Я, я — дежурная, и моя смена сейчас, — сказала Лена.

— А как вас звать?

— Лена.

— А меня — Борис, Борька. Вот и познакомились!

И Борис развел улыбку до самых ушей, Лена тоже улыбнулась.

— Так, говорите, вставать? — спросил Борис и сделал движение, которое показало, что он сейчас вскочит. — А скажите, буфет когда у вас работает?

— Буфет уже закрыт, проспали вы, он работает до одиннадцати часов. Я несколько раз приходила, да вы все как мертвые. Вставайте.

Сказала и вышла.

Борис вскочил и в одних трусах подбежал к Игорю.

— Вставай, Игорь, вставай!

Игорь заворчал и не встал, потому что знал, кто его будит. Борис принялся ходить по комнате, вслух разговаривать и греметь стульями. От шума ребята стали просыпаться. Садились, свесив голые ноги, зевали. Когда одевались, Борис рассказал о дежурной и вдохновенно расписал ее портрет. Все заволновались.

4

Так началось знакомство.

Студенты жили шестой день. Лена слышала, как они ругали начальника экспедиции за то, что он не давал машины, и втайне радовалась, что машины нет. Лена узнала, что они все четырнадцать учатся на одном курсе и все вместе были на практике, на изысканиях, что среди них есть топографы и геофизики.

Каждый день теперь начинался приблизительно так:

— Здравствуйте, Лена! Доброе утро, Леночка! Леночка, привет!

В ответ:

— Здравствуйте, здравствуйте! Что?.. Воды? Внизу. Она всегда там.

Их она уже называла — ребята. А ребята — по студенческой привычке — не позволяли Леночке убирать в комнате. Выделяли ежедневно дежурного, который и вытирал пыль, и подметал пол, а остальные в это время занимали Леночку. Она не думала стесняться. У ребят ей нравилось. Они шутили, рассказывали друг про друга смешное. Она садилась на стул, болтала ногами и весело смеялась. Смех у нее был мелкий и звонкий, как первый весенний ручеек.

У ребят оказался маленький походный патефончик. Каждый вечер его крутили и с Леночкой танцевали по очереди, научив ее танцевать по-ленинградски.

Иногда приносили вино и закуску. Шумно пили, но Леночка ни грамма ни разу не выпила. Вечера с вином проходили еще веселее и даже бурно. Одно огорчало всех: в двенадцать часов нужно было кончать музыку, соседи требовали тишины.

Каждый вечер ребята рассказывали что-нибудь. Читали стихи и пели песни.

Когда читали стихи, Леночка внимательно слушала с широко раскрытыми глазами. Голос читавшего, то тихий и просящий, то жалующийся на что-то и становившийся еще тише, сковывал ее, и она сидела не шевелясь.

Леночка многого не понимала, но в комнате устанавливалась такая тишина, что казалось, и за стенами в номерах, и на улице или нет никого, или все замерло, прислушиваясь. И ей было хорошо-хорошо.

Как-то попросили Бориса прочитать что-нибудь Маяковского. Просили все, попросила робко и Лена. После чтения у Лены в ушах долго звучали слова первой главы «Облака в штанах». Она даже испугалась. Когда Борис читал, Лена смотрела на его изменившееся лицо, заблестевшие страшно глаза, а когда он, чуть нагнувшись, хриплым голосом, проведя взглядом по сидящим, обратился к ним:

Вы думаете,
это бредит малярия?
Это было,
было в Одессе... —

Леночка испуганно отодвинулась и ухватила пальчиками за чей-то рукав. Когда Борис кончил, все хлопали, благодарили. Леночка не все поняла, о чем говорилось в стихах, но чувствовала, что Борис чем-то недоволен. «Но ведь это не его стихи!» — думала она.

После танцевали...

Тете Маше ребята тоже нравились. Дома Лена много про них рассказывала, и тетя Маша, да и бабушка заметили, что больше всего она говорит про какого-то кудрявого Бориса.

— Что ты, Лена, заладила все Борис да Борис? Их, чай, четырнадцать человек, — спросила однажды тетя Маша.

Леночка замолчала и покраснела, сама не зная от чего. Рассказывать про ребят стала меньше, да и вообще тише стала, будто затаила какую-то тайну.

После этого как-то встретились с Борисом взглядами, Леночка покраснела, опустила голову

и выбежала из номера. Она стала реже бывать у ребят. Те обижались и сердились, обещали записать ей выговор по комнате. Если Бориса не было в номере, она смеялась и корчила Игорю смешные рожи, когда тот съедал от кого-нибудь «пилюлю». Но как только приходил Борис, Лена отвечала на вопросы односложно и скоро исчезала.

Как-то Борис принес книгу на обмен. Поздоровался весело и стал рыться в Лениной библиотеке.

Леночка сидела сзади и чувствовала себя очень неловко. Встала и бесшумно за спиной Бориса выбежала за дверь. Борис выбрал книгу, оглянулся — Лены не было, удивился.

А Леночка убежала на второй этаж и стала быстро мести недавно подметенный пол.

Так началось.

Ночью Борис приснился ей. Он улыбался и что-то рассказывал. Тянул к ней руки и неслышно шептал. Леночка проснулась и не могла уснуть до утра. Сердце у нее никогда сильно не билось, а тут вдруг оно застучало, застучало громко и настойчиво, как ребенок, обманутый и надолго запертый в пустой комнате. Спать Лена могла теперь только днем, дома, где запах стен, спокойное ворчание бабушки и тепло печки убаюкивали ее.

В гостинице, лежа ночью в постели, только дремала. Свое дело стала делать в каком-то забытьи, машинально, глядя куда-то мимо.

Леночка сама не знала, чего хотела. Но чувствовала, что-то должно произойти, и пугалась. Куда деть себя? Куда спрятаться? Вспомнила какие-то неясные намеки тети Маши, которая

насчет чего-то неясно предупреждала, и совсем испугалась. Теперь, когда лежала в постели и старалась заснуть, вдруг казалось, что кто-то ходит по коридору, стоит у двери и слушает. Однажды ей показалось, что кто-то дышит за дверью. Она сжалась вся, укуталась в одеяло и лежала так долго, пока не уснула.

5

Время летело. Там, далеко, был институт, он звал и требовал к себе. Под напором студентов начальник экспедиции вызвал наконец машину из соседнего колхоза, куда та была отправлена на уборку. Но в трубке тоненький голос сказал, что пришлет машину через три дня.

— Раньше никак нельзя: возят картошку, — сказал начальник, — дни на редкость, а там начнутся дожди.

Студенты вернулись от начальника, и поднялся спор. Кто говорил — и хорошо, коли опаздывают: у начальника взять писульку, что не по своей вине задержались, и баста! Кто не хотел опаздывать. Решали: брить бороды или не брить? Игорь говорил, что до самого Ленинграда поедет с бородой. Многие его поддержали. Спорили: где и когда писать отчет, в споре распалились, и, когда прервали его, захотелось веселиться. Борис, например, сказал, что у него такое состояние, что ему хочется или залезть на высокий кедр с голым стволом, или открыть форточку и закричать так, чтобы поднялась на ноги вся улица. Скоро едут! О!

Но кедра не было в комнате, кричать в форточку все-таки не стоило, и взамен этого он вскочил на стул и крикнул:

— Ребята! А не выпить ли нам? А? Вечер накануне отъезда, Игорь, ну?

— Давай!

— Кто пойдет в чайную? — Все молчали.

— Кидаем на морской счет.

Кинули. Выпало Игорю. Тот поскреб в бессилии затылок и бросил:

— Гоните монету.

Собрал деньги, ушел. Все в ожидании притихли. Стучали по доске шашками, шаркали фигурки шахмат.

— Лены чего-то сегодня нет, — неожиданно сказал кто-то. На часах было половина девятого.

Борис пошел в буфет, посмотрел, нет ли чего подходящего для закуски. В буфете сидел дядя Федя и пил чай. Буфетчица, навалившись могучим корпусом на прилавок, беседовала с дядей Федей, и лицо ее, круглое, с отражающим свет румянцем, улыбалось ему. Дядя Федя с достоинством подносил стакан к губам, отпивал глоток и басом продолжал разговор. Борис осмотрел витрину, постоял. Прошелся по первому этажу, поднялся во второй, заглянул в номера, спустился на первый и, подойдя к служебной комнатке, постучал в дверь.

— Войдите, — услышал он голос Лены.

Лена сидела на кровати, поджав под себя ноги, и вышивала.

— Здравствуйте, Лена, — сказал Борис.

— Здравствуйте, — ответила Лена тихо.

— Пойдемте, Лена, к нам. У нас сегодня вечер, посвященный отъезду, и мы все приглашаем вас.

На лице у него появилась прежняя беспечно-задиристая улыбка.

— А когда едете? — чуть слышно спросила Лена.

— Сами не знаем, Лена, только не завтра.

Лена помолчала, соскользнула с кровати.

— Хорошо, я сейчас. Нет, вы идите, я сама, только дяде Феде скажу.

...Игорь уже принес вино. Раскупоривали бутылки, резали колбасу, открывали банки.

— Это для нашей дамы, — сказал Игорь, доставая из чемоданчика пирожные и коробку конфет.

Пора было начинать, а Лены не было. Игорь пошел за ней и вернулся минут пять спустя.

Когда он вошел с Леной, нарочно важно, держа под руку, все закричали «ура!» и бросились пожимать ей руку. Здоровались, переглядывались друг с другом.

Всегда Лена приходила в своем сером, повседневном платье, которое казалось неотделимо от нее, в черных простых чулках и черных старых туфельках. Сегодня на ней была белая, поблескивающая на свету кофта, черная новая юбка и новые туфельки. Она казалась совсем тоненькой и невесомой. Шейка, смуглая от природы, оттенялась белизной блузки и казалась еще тоньше. Глаза были больше обычного и такие детские-детские и радостно-смущенные. Через смуглую кожу лица пробился румянец.

— Ну что вы стоите? — спросила Лена.

Этот вопрос подействовал как сигнал к наступлению. Ребята бросились к столу. Игорь усадил Лену рядом с собой. Ему пытались возражать, но Лена изъявила желание сидеть с ним. Налили и Лене красного вина.

— Совсем чуточку, — приговаривал Игорь, наливая.

Лена отказывалась. Ребята пристали:

— Леночка, честное пионерское! Сладкое как мед, смотри: на-лив-ка, — по слогам прочел слово Игорь, — слабая-слабая. Чего ты боишься? Все девушки пьют вино на вечерах, а у нас вечер! В институте, знаешь, есть такие девицы — водку пьют. Не веришь? Ребята, Борька, скажи!

— Верно, Лена, есть, — водку пьют.

Борис поднял тост. Он предложил выпить за то, чтобы большая часть из них приехала работать сюда после окончания института.

Лена подносила стакан к губам, будто не с вином, а с каким-то ядом. Бровки ее сошлись, и лицо стало серьезным-серьезным.

— Пей до дна, пей до дна! — все радостно рычали в один голос. Лена выпила, и совсем ничего страшного не почувствовала, даже улыбнулась. Скоро ей стало очень весело. Она не умолкая смеялась.

Отодвинули к стене стол и завели патефон.

Игорь пригласил Лену танцевать.

Борис много курил. Лену приглашали и приглашали. Наконец и ему удалось пригласить ее. Борис танцевал и чувствовал, как дрожит ее рука. Сам смотрел в сторону, а когда повернул лицо к ее лицу и увидел и губы, и глаза, и бьющуюся жилку на шее — тут же захотелось ее поцеловать, но толь-

ко смотрел и смотрел. Лена подняла глаза, и они секунду смотрели друг на друга.

— Ох, жарко! — сказала Лена, когда кончился танец.

— Пойдемте выйдем?

Лена нерешительно сказала:

— Пойдемте.

Каблучки звонко простучали по порожкам. Вот и воздух! Леночка вздохнула, голова чуть закружилась, и она засмеялась, глядя на Бориса, но сразу замолчала. До угла шли молча. Вдруг она остановилась и, глядя в глаза Бориса, спросила:

— Может, это не хорошо? Скажите, Борис.

— Что не хорошо, Леночка?

— То, что я с вами вышла... Только правду скажите.

Борис помялся, не зная, что сказать, потом взял ее за руки.

— Что же нехорошего, Лена? Ничего плохого.

Она посмотрела на Бориса. Ему хотелось прихватить ее и поцеловать. Но он только взял ее под руку, и они пошли по улице. Луна не пряталась. Ветки деревьев скрадывали ее свет и клали под ноги узорчатые тени. Лена старалась перешагивать их. Окна домиков, стоявших на другой стороне улицы, не освещались луной и были похожи просто на дырки без стекол. Огонь нигде не светился. Впереди, насколько было видно Борису, не виднелось ни одной человеческой фигуры. С той стороны, откуда светила луна, доползал до слуха то шум речного парохода, то долетали его гудки. Голова у Бориса слегка кружилась.

Дошли до конца улицы, свернули за угол. Лена

поежилась, в спину подул ветер с Енисея. Борис снял пиджак и прикрыл плечи Лены, но она не захотела так. Борис настаивал. Началась неравная, но веселая борьба. Лена смеялась, выскальзывала из-под пиджака и повторяла:

— Не буду! Не надену!

Борис слышал ее дыхание. Ему удалось схватить ее руки. Притянул к себе, одной рукой держал за обе тонкие руки, другой надевал пиджак. Лена была близко. Борис ощутил ее дыхание на своей шее.

Пиджак сполз с плеч и упал под ноги. Ботинок наступил на него. Где-то скрипнула ставня на ржавых петлях. Только спавшие домики смотрели своими темными-прямоугольничками окон и помалкивали. Борис робко, как будто боясь происходящего, поцеловал Лену. Она вырвалась и побежала.

6

Борис догнал Лену и к гостинице нес ее на руках. Она вдруг перестала смущаться, смеялась и качала ногами. Его руки спортсмена, руки рабочего третьего разряда, промахавшего топором три месяца по жадной до труда тайге, не работали — отдыхали.

Лена левой рукой доставала шею Бориса, а правой махала по воздуху и, когда шли мимо деревьев, старалась сорвать листок с низко растущей ветки. Она ни о чем не думала. Бабушка и тетя Маша остались где-то за пределами ее мыслей, гостиница растворилась в мягкой темноте ночи, а она, одна она плыла в этой мягкой темно-

тё, улыбающейся сверху звездами. Правый бок немного побаливал от руки Бориса, но Лена молчала.

Вот и гостиница.

Лена соскочила на землю и остановилась, не зная, что делать. Борис звал еще погулять, но Лена испуганно отказалась, а когда Борис взял ее за руку, она отскочила, как белочка, и, ничего не сказав на прощанье, убежала в дом.

Проскочила мимо дяди Феди, который, исполняя ее просьбу, сидел в проходной важно и торжественно, как старый судья. Когда Леночка мелькнула белой кофточкой, он только передернул лохматыми бровями, вынул сигарку изо рта и внимательно посмотрел на дверь: кто же войдет сейчас?

Ждать пришлось недолго. В дверях появился кудрявый, с черной бородкой парень.

Борис медленно прошел в свой номер. Дядя Федя проводил его недовольным взглядом и замер в прежнем положении.

Ребята уже спали. Борис, не раздеваясь, бухнулся в постель. Сначала зажмурил глаза, лежал так, затем открыл и стал смотреть вокруг. Неровным силуэтом на фоне окна вырисовывался стол с бутылками и стаканами. Из темноты появилось лицо Лены, и он услышал сказанное ему там: «Я до этого ни разу не целовалась». Вспомнив эту фразу, Борис сел. Мысли заскакали: «А что, если увезти ее? Можно! На машину и... Зашумят? Завтра же зарегистрируюсь и объявлю ребятам!»

Перед рассветом он уснул. Уснул одетый, с желтым лицом, с взлохмаченными волосами.

В двенадцать часов дня Борис внезапно проснулся. Его теребил за плечи Игорь и говорил:

— Вставай, Борька, да вставай же!

— Чего?

— Машину подали, сейчас едем. Все уже в машине, скорей, скорей! Шофер кричит, матерится и говорит, что если сейчас же не соберемся, то уедем через неделю.

Борис наконец понял. Вскочил и побежал к двери.

— Рюкзак возьми мой! — крикнул он.

В проходной Лены не было.

— Она смену кончила и домой убежала, — спокойно ответила тетя Маша на вопрос Бориса.

— Как домой?

Тетю Машу позвали из второго номера, и она, махнув рукой, ушла.

С улицы кричали. Сигнал гудел. Борис разыскал дядю Федю, и тот не торопясь объяснил, где и в каком доме живет Лена.

Борис выбежал на улицу.

Недовольные лица ребят, все смотрят на него. Ругань шофера. . .

Мотор заработал, машина дрогнула. Ребята закричали. Борис сорвался с места, догнал машину, набирающую скорость, и, минуя руки ребят, одним рывком влетел в кузов. Вот первый квартал, второй, третий. . . Вот даже виден шестой дом от угла с поломанными воротами. Борис крепче уцепился за борт кузова и стал смотреть на рюкзак, лежавший у ног.

Когда проехали метров пятьсот, Игорь вдруг крикнул:

— Смотрите, Лена!

Она, видимо, бежала, но, увидев, остановилась и стояла, как будто готовясь бежать дальше, но не решаясь. На ней был большой платок, накинутый на плечи, обычное серое платье трепал ветерок...

В машине разом заревели, замахали. Лена подняла руку и помахала медленно-медленно.

Машина набирала скорость. На просьбы остановить шофер только ругнулся. Дома пробегали мимо скорей и скорей. Вот уже не видно черт лица Лены, вот она уже не машет рукой...

Ребята рассаживались поудобней. Борис стоял и смотрел.

Машина промчалась мимо последних домиков. С визгом отскочил с дороги напуганный поросенок.

Борис видел в уходящей дали точку, которая все уменьшалась. Дорога пошла под уклон, и улица, и крайние дома, и точка исчезли.

СЕСТРЫ СТРОГАЛЕВЫ



редание рассказывает, что лет сто назад, после ледохода, вниз по течению Енисея плыли купеческие барки с товарами. Не доплывая до Средней Тунгуски, с одной барки высадились на берег два мужика и молодая красивая девка. Одному мужику было лет пятьдесят, и звали его Ефимом. Второй был сын его, по имени Василий. А девка была невестой Василия. Высадившиеся к осени построили недалеко от воды, на возвышенности, просторную избу и начали жить. Фамилия поселенцев была Строгалевы. Какая причина занесла их сюда и откуда — про это ничего не известно. Отец и сын были рослыми, красивыми мужиками, носившими черные бо-



роды. И невеста сына была просто красавица.

Поселившиеся в этом необитаемом месте охотились в тайге да ловили рыбу в Енисее. Свой товар они сбывали купцам, проезжавшим здесь по реке весной, когда можно подняться на барках вверх по Тунгуске, и зимой, едва реку сковывал лед и открывался санный путь.

В ветреную погоду, когда на Енисее бушевали волны, Строгалевы ставили у окна, выходящего к реке, горящую лампу. Люди, захваченные непогодой, сворачивали на огонек, и Строгалевы узнавали от них, что творится на белом свете, и заводили торговые знакомства.

Хозяева жили чисто. Водку не пили, табак не курили и даже за столом с чужими людьми не ели. Для себя у них были свой стол и своя посуда.

Со временем старик Строгалев помер. У молодых родились две девочки — красавицы. И когда девочки выросли, в одну из ночей ночевавшие у Строгалевых купцы увезли дочек. Охотой ли пошли девки, силой ли их выкрали — неизвестно. Муж и жена страшно переживали и целыми днями молились богу, чтобы он вернул им дочерей. Наконец они решили, что это их наказал бог за то, что они жили не только той добычей, которую он посылал им в виде рыбы, белок и соболей, но еще пользовались деньгами проезжих, дававших деньги за приют. Василий избу разобрал и перевез ее за тридцать километров в глубь тайги, подальше от соблазнов. Так было положено начало деревни, которая в настоящее время называется Строгалевом.

Избы деревни стоят на пологом склоне, и ули-

цы, образованные избами, не похожи на улицы других деревень. Они здесь кольцеобразные. Должно быть, вокруг первых избы строились так, что фасады их смотрели на свою родоначальницу. Когда один круг застроился, то уже, следуя традиции, второй ряд изб тоже выстроили кольцами за огородами.

Чтобы с деревенской улицы выехать на телеге в тайгу, нужно раскрыть ворота из жердей, устроенных в определенном месте, где оставлен проезд. Может, и не стихийно выстроились избы в такой порядок. Ведь и сейчас, случись медведю забрести в деревню, то уж выбраться обратно ему трудно. И носится он по улицам, покуда либо собаки не загоняют и свалят, либо кто не пристрелит из окна или с крыльца. А лошади только зимой стоят в конюшне. В летнее время бродят по широким улицам.

Конечно, изба основателя деревни за столько лет несколько раз перестраивалась. Много рождалось в ней и много умирало. В настоящее время в ней живет Клавдия Петровна Строгалева. У нее пять человек детей. Самому старшему десять лет, и звать его Васей. Потом следуют по возрасту Коля, Митя, Ваня и еще Коля. Последние два не родные дети Клавдии Петровны. Они остались от сестры ее Ольги, замерзшей в тайге два года назад. Замерзла Ольга в один из январских дней, когда поехала в тайгу за березовыми дровами, заготовленными с лета за Тунгусским оврагом. Там-то она и попала в капканы, расставленные охотниками. Поехала Ольга утром рано, а к вечеру вернулась в деревню одна лошадь с пустыми санями. Нашли Ольгу лежащей вниз лицом, свернувшуюся

в комок. Один капкан сцепил своими стальными челюстями ногу, а другой обе руки. Видимо, она сначала угодила ногой в первый капкан, упала, и второй защемил руки. Обычно в том месте, где охотники устанавливают капканы, устраивается «опояска» из легких жердочек в одну-две нитки. Зверь такая опояска не отпугнет, а человек всегда заметит ее. Здесь же никаких остерегающих человека мер не обнаружили. Несколько дней деревенские дежурили поблизости, надеясь дожидаться охотников и расправиться с ними. Но те, должно быть, пронюхали о случившемся, и никто не явился проверять капканы.

Последний год своей жизни Ольга жила в избе родной тетки Силантьевны без мужа. Он помер от воспаления легких. Угодил зимой в тайге в родниковое озеро, покуда добрался домой, чуть не окоченел. Потом проболел три месяца и помер. Ольга и осталась одна. Похоронив сестру, Клавдия Петровна забрала детишек ее к себе.

Строгалево входит в таежный звероводческий совхоз «Заря Сибири». На следующий день после похорон Ольги приехал в деревню директор совхоза Иван Иванович Червинин. Грузный, неуклюжий, ввалился он в избу Клавдии Петровны, уселся на стул и, утирая широкое красное лицо большим клетчатым платком, советовал Клавдии Петровне передать детишек в детский дом. Да и тут же находившиеся бабы, справлявшие поминки, в один голос говорили:

— Сдай их, Клавка, замотаешься ты с ними! И так вон посмотри на себя — будто на огне горьшь, а с пятерыми совсем скрутишься!

Клавдия Петровна отмалчивалась. Когда же

все разошлись, представила, как это повезет ребят на пароходе в Енисейск, где сама ни разу не бывала, представила последний момент прощанья с ними и, поплакав ночью несколько раз, решила оставить детишек у себя.

— Это уж если человек в одиночестве живет, — говорила она на деревне, — так для него в пустой избе и тень собственная приходится в тягость. А у меня их теперь пятеро удалцов. В шуме да в суматохе и вырастут незаметно. Жаль только, что девок нету, одно мужичье растет. . .

Это мужичье сразу же бросается в глаза новому человеку разным цветом волос и кожи. У старшего, Васи, волосы темные и курчавые, лицо узкое. И когда он не шалит, оно приобретает строгое выражение. Коля-старший — рыжий, коренастый, немного угрюмый мальчик. Если Вася при чужих людях первое время стесняется, то Коля-старший и незнаком со стеснительностью. В прошлом году жили в избе Клавдии Петровны студенты, приезжавшие практиковать сюда к геологам. Едва они зашли в избу и стали располагаться в отведенной комнате, мальчики выстроились у стены в горнице и оттуда через дверной проем смотрели на гостей. Коля в этот момент спал на печке. Проснувшись, он спустился на пол и, заметив чужих людей, смело прошагал к ним. Остановился в проеме и с любопытством осматривал всех по очереди.

— Тебя как звать? — спросили постояльцы.

Он не ответил. Долго любовался ружьем и наконец, подойдя к одному из студентов, спросил:

— Это ваше ружье?

— Наше, — ответил студент.

Мальчик оглянулся на братьев и снова задал вопрос:

— А вы намного сюда приехали?

— Намного.

— Насовсем?

— Нет, не насовсем.

— И облатно уедете?

— И обратнo уедем.

— А что вы у нас забудете?

Постояльцы засмеялись, а мальчик пояснил, что у них уже жили приезжие люди. Один раз забыли складной ножик, второй раз — шесть патронов. Теперь братья ждут, когда кто-нибудь забудет ружье.

— Зачем оно вам?

— В ведмедей стрелять, — ответил Коля.

Практиканты жили у Клавдии Петровны не постоянно. А просто ночевали в ее избе несколько раз в месяц, когда выбирались из тайги в Строга-лево за продуктами да попариться в бане. Мальчики привыкли к ним, но все равно говорил чаще всего один Коля. Обычно разговор длился долго, когда студенты чистили ружья и заряжали патроны. Мужичье окружит стол и, положив на края его подбородки, внимательно следит за работой.

— Вы кто? Студенты? — спросит Коля.

— Студенты.

— А кто это студенты?

Минут десять ребята выслушивают что-то вроде сказки.

— Я вырасту и тоже буду студентом, — задумчиво скажет Вася и спрашивает: во сколько раз институт больше их деревенской школы, сколько в институте классов, много ли задают уроков.

- Учителей много там?
- Много.
- Они злые?
- Нет, не злые.

И мальчик задумчиво улыбаётся глазами: должно быть, он доволен, что учителя там не злые.

За Колей-старшим растёт Митя. Он беловолосый, хрупкий и несколько капризный. Но в то же время самый послушный и лихий, как девочка. Со стороны можно заметить, что мать любит Митю больше каждого из остальных детишек, хотя сразу это и не бросается в глаза.

Ваня и Коля-младший, то есть не родные дети Клавдии Петровны, как и Митя, — блондины. Но глаза у них темные, по-тунгусски раскосые, а кожа смуглая. Если смотреть на этих мальчиков издали, кажется, будто оба покрасили волосы или одели аккуратные парички. Почему же произошло такое смещение цветов?

Дед Клавдии Петровны держался веры своих предков. То есть он водку не пил и не курил. С мирскими людьми за стол не садился и каждый вечер молился подолгу богу в пристроенной к избе молельне. Основной завет предков был таков: жить можно только тем, что посылает господь бог, — бить зверя, птицу, собирать ягоды, грибы. Живущий на земле человек всем обязан только лишь богу, и потому он не должен признавать никаких мирских властей, сеющих среди людей грех да разлад. Иначе говоря, дед был закоренелый старовер, или по-местному кержак. До тысяча девятьсот тринадцатого года о деревеньке Строгалево никто не знал. Мужики свезут пушнину, мясо

к Енисею, там это продадут, накупят пороху, дробы и возвратятся путаной таежной дорогой в свою берлогу. Случалось, прямо в деревню наезжал какой-нибудь дошлый купчишка за соболями, но такое бывало редко, деревенские смотрели на пришедшего человека косо, хмуро. Большею частью от-малчивались и ничего не продавали. Потом, однажды летом, наехали в деревню полицейские власти. Жителей переписали, назначили старосту и, уезжая, дали ему наказ, чтобы через неделю доставил в Енисейск четырех молодых мужиков для службы в армии. В деревне поднялся переполох, Старики и много молодых бросили обжитое место и ушли глубоко в тайгу. Там жили сначала в землянках, а затем построили избушку, и маленькая новая деревенька стала называться Беглово. Ушел тогда и дед Клавдии Петровны, которому было в то время лет тридцать. А родная деревня опустела. Оставшиеся бабы днем отсиживались с детишками в тайге и возвращались только в потемках.

В те далекие времена тунгусы сплошь вели кочевую жизнь. Однажды дед и встретил в тайге молодую тунгуску, которая ему очень понравилась. Он и привел ее в свою землянку. Старики же были против женитьбы на дикой инородке, грозили проклясть деда, если он женится на ней. Тогда непокорный молодец покинул своих родственников и исчез в тайге вместе с молодой красивой тунгуской. Где он скитался с ней первое время, конечно, никто не знает. Но ведь жена была привычна к скитаниям. И может, жили они в охотничьих избушках или просто в курене. Однако когда появился у них ребеночек, маленькая семья объявилась в Строгалево, и дед поселился в своей

избе, которая пустовала. Вообще тунгуски некрасивы, но говорят, что бабка Клавдии Петровны была просто красавица, хотя и тонка в кости и мала ростом. Она-то и завела моду ходить по пятам мужа, нигде не оставлять его в одиночестве. И случись деду отлучиться надолго, она выла позвериному в избе, бегала с растрепанными волосами. И едва узнавала, куда поехал муж, мчалась к нему, несмотря на время суток и погоду. То ли боялась она за себя, оставшись одна, то ли боялась за мужа: а вдруг что-нибудь с ним случится? Может, ревновала?

Как бы там ни было, а на деревне осталось мнение, что бабка теперешних Строгалевых «страдала затмениями». Когда муж болел, она лечила его травами и день и ночь сидела над больным как полоумная, не отходя ни на шаг и не беря в рот ни крошки.

— Дикая в затмении, — говорили тогда деревенские.

И в одно из затмений она померла.

Уж были у них взрослые дети. Дед Строгалев уехал за пятьдесят километров зачем-то в Подкаменную. Должен был вернуться через сутки, но минуло двое суток, он не возвращался. И будто какая-то старуха шепнула «дикой» несколько страшных слов. Та вскочила на лошадь и ускакала в Подкаменную. Там она нашла мужа в избе рыбака. Самого рыбака дома не было. А деда она застала лежащим в постели вместе с белой женой его. С бабкой случилось затмение. Она и про лошадь забыла. Убежала в тайгу и на полпути к Строгалеву повесилась на сыромятном своем пояске...

Дед скончался уже после революции в тридцатые годы. От них осталось двое детей — сын и дочь. Сын уехал служить в Красную Армию. Дочь Вера была замужем и имела детей. Ольге было пять лет, а Клавдии два года. Великая Отечественная война прошла для девочек незаметно. В деревне не голодали. Имелась рыба, имелось мясо, было молоко, а хлебом служила картошка. Сразу же после войны появились здесь геологи. Где-то там, поближе к Тунгуске, вроде бы разыскали в земле олово, и поговаривали, будто и золото нашли. И в Строгалево однажды наехали геологи. В тайге лазили по оврагам, собирали куски породы. Пожилые сторонились пришлых людей. А детей отпугивали от них всякими страшными рассказами. То пустят слух, будто в какой-то деревне двое из приехавших увели в тайгу девочку, высекли ее там ремнями, привязали к стволу кедра и оставили на съедение комарам. Еще: эти люди могут увести кого угодно куда-то далеко-далеко и там посадить в тюрьму, огороженную колючей проволокой и обрытую глубокими канавами, заполненными водой. Всякую чепуху мололи старики, лишь бы отпугнуть молодых от чужих людей.

Геологи в то время даже в избах не жили, а только в палатках. И вдруг Ольга Строгалева сошлась с одним из геологов. Сама привела его от палатки через всю деревню к себе в избу, и стал он у них жить. Старики не выдержали подобного срама. Прокляли дочь и ушли в Беглово, забрав с собой Клавдию и младшую дочь Феню, которой шел тогда восьмой годок. Но спустя зиму Клавдия сбежала из Беглова обратно в Строгалево.

...Родные дети Клавдии Петровны не от одного мужа, а от троих. Обычно, когда женщина рассказывает о своей неудачно сложившейся жизни, всегда она упомянет о виновнике или виновнице, положившей начало несчастью. В словах же и в тоне Клавдии Петровны не чувствуется жалобы на кого-то. Есть одна, и довольно странная, жалоба. Именно: беда вся в том, что она в молодости из-за красоты своей необычной долго не выходила замуж. Сидела в ней гордость от этой красоты. И всякий, кто ни сватался, получал отказ.

— Что и говорить, — рассказывала она, — красота виновата. Одному от нее счастье, а другому горе. Помню с молодости лет: кто ни зайдет в избу, все говорят о моей красоте да про бабку вспоминают. Я эту бабку и во сне видела часто. Снилось она мне красавицей, одетой в какое-то одеяние особенное. Проснусь среди ночи и думаю о себе, что вот и я такая, и царица я, и все тут. А на деревне вещали отцу: выйдет твоя Клавка за какого-нибудь начальника славного; не удержишь ты ее в деревне. Отец-то злился от этаких слов, а у меня и сидело подобное в голове. Бывало, выбегу за деревню в тайгу, стану и стою слушаю. Вот сейчас выйдет молодец из-за деревьев и подойдет ко мне. Застоюсь так, покуда жутко не делается, и чуть живая бегу в избу. Как-то под какой-то праздник заявился сватать меня Васька Кутунин, наш деревенский парень. А я ему и скажи: «Добудешь триста соболей — пойду за тебя, а не добудешь — и не показывайся!» Отец, конечно, на меня с ремнем... А в те годы день за днем как вода в ручье журчали.

Замуж вышла Клавдия Петровна — едва вер-

нулась от матери к сестре в Строгалево. Однажды они приехали на телеге к Енисею. Там приплыла плавучая лавка-магазин, и сестры хотели купить чего-нибудь из материи. День выдался солнечный, и ветра не было. Над тайгой летали беспокойные кедровки, и крики их будто предостерегали от какой-то опасности. Всю дорогу ехали сестры молча. И Клавдия то и дело почему-то вздрагивала от криков кедровок, оглядываясь по сторонам. Вроде бы чего-то страшно. Когда подъехали они к Енисею, пароходик уже стоял у причала и на нем толпились люди. У самой воды сидела компания молодых парней. Оказалось, что вместе с магазином приплыла партия новых рабочих. Сестры купили что понравилось, сходили в сторонку и искупались за кустами. Когда сели на телегу и тронулись в обратный путь, несколько парней попросили подвезти их в Строгалево. Сестры согласились. Один из приехавших сидел рядом с Клавдией. Изредка отрывая глаза от своих загорелых босых ног, она поглядывала на соседа. Видела белые кудрявые волосы, прямой нос, насмешливые губы и голубые внимательные глаза, с удивлением разглядывавшие ее. И она никак не могла строго и долго смотреть в эти глаза. А едва въехали в деревню, Клавдия спрыгнула с телеги и убежала в огород, где просидела в кустах картошки до вечера. Это был он. Откуда он взялся? Чей он? Ночью он приснился. Смеясь, бегал за ней по огороду, а она увертывалась от его рук. Но потом, запыхавшись, добежала до избы, ветром взлетела по лестнице на чердак, забилась в темный угол, но не спаслась. Его сильные руки протянулись из темноты, вытащили ее, легко приподняли и при-

жали к груди. Какая-то острая сладкая боль незнакомой судороги пронизала Клавдию, и она проснулась. В избе было душно. Ровно тикали ходики. В окно сочился свет предугрешенной зари. Она вышла на крыльцо и вдруг, взглядываясь в серый клубящийся туман, затянувший облаком улицу, увидела его. Он стоял на той стороне улицы прислонившись к изгороди и смотрел на нее.

Потом он подошел к ней и смело обнял. Клавдии хотелось закричать. Но она не закричала и не вырывалась. . . Может, в Клавдии сидело что-то от бабки, предки которой всю жизнь кочевали? Или ей самой просто надоело сидеть в родной деревне? Но только она не выпрашивала у своего кудрявого избранника, будет ли он все время в деревне. Ничего не хотела Клавдия выпрашивать. В деревне жить с ним — так в деревне. Нужно ему ехать на другое место, и она с ним поедет. Быть только с ним, и все тут.

Ольга не вмешивалась в личную жизнь сестры. Она помнила свое замужество. Помнила, сколько слез пролила, когда старики ушли в Беглово. Чтобы молодым свободнее чувствовать себя, Ольга со своим мужем перебралась к Силантьевне.

— Кедровики облезлые, — ругалась Ольга в адрес старух, ворчавших на деревне: «Не к добру это потянуло девок к чужим. Пропадет Клавка!»

Жениха звали Николай. Смеясь, он согласился на свадьбу по-староверски. Документы его должны были вот-вот прийти откуда-то по почте, и тогда они съедят в совхоз и зарегистрируются. Два года прожили молодые хорошо. Клавдия Петровна родила мальчика и назвала его Васей. Ольга на ту пору все никак не могла почему-то забеременеть

и часто бегала с расспросами к своей меньшей сестре. Клавдия Петровна послала Ольгу в Беглово, чтобы она спросила родителей, не простят ли они, не хотят ли внучка посмотреть. Но Ольга отказывалась идти.

— Не пойду! — говорила она сердито, топая ногой. — Я из-за них слезами состарила себя на десять лет! И ты не ходи к этим зверям. Пусть сидят там.

Ольга радовалась на сестру и ждала, когда сама забеременеет и родит ребеночка. А под осень третьего года Николай исчез из деревни. Однажды отправился на пароходе в Енисейск по делам и не вернулся.

Начальник Николая жил в палатке, на полпути до Енисея. Клавдия ходила к нему и спросила о муже.

— Вы расписаны были? — спросил начальник, сидя на ящике от теодолита.

— Нет. . . Он ждал паспорта, и не успели еще. . .

— Так. . . Ждал. Ну теперь жди. Много детей?

— Один. Мальчик.

— Ну это еще ничего. Ты с кем живешь?

— Одна. И сестра здесь в деревне.

— А старики?

— Они в другой деревне.

Начальник ничем не мог помочь этой лесной красавице; сплошь и рядом завербованные на определенный срок специалисты, отработав срок, уезжали, оставляя временных жен с детьми.

— Вот что, — советовал он, — давай приходи вместе с сестрой к нам работать. Заработки хорошие, а там, может, и вернется твой Николай. Ты грамотная?

- Четыре класса кончила.
- Ну вот, приходите.
- А как же с Николаем?

Начальник пожал плечами, и Клавдия наконец поняла — уехал навсегда. Добежала она до своей избы или доползла? Этого она не знает. Из какого-то серого мрака, в котором было душно до невозможности, Клавдия вырвалась с трудом, когда уж лежала у себя в избе на кровати. Колени и локти были разодраны до крови, а лицо исцарапано. Возле нее дежурила Ольга. И две недели не поднималась Клавдия. Лежала, глядя в одну точку, расположенную где-то чуть выше окна, за которым темнела тайга. Если бы не сынок Вася, покончила бы она с собой. Зачем изба? Зачем окно? Зачем Ольга? Когда поднялась на ноги, два раза среди ночи уходила к Енисею, успокоившему уже на ее памяти нескольких людей. И оба раза ночи были ветреные. Тайга гудела. Мутный, страшный Енисей грозно ворчал волнами, бил ими в обрывистый берег. А Клавдии мерещилась холодная спокойная постель под водой, в которой бы она ничего не чувствовала и не вспоминала. Последний раз пришла к берегу с Васей. Просидела там, покуда не посветлел горизонт и середина реки заиграла отблесками зари. Торопливо, в каком-то испуге, будто гнались за ней, убежала она, прижимая мальчика к груди, и больше к Енисею не ходила.

В это время заглянула в Строгалево из Белова подросшая Феня. Убежала она к сестрам тайком от стариков, запретивших ей даже близко подходить к сестрам. Когда Феня открыла дверь в избу, Клавдия стояла на коленях перед кроватью, терлась лицом о подушку и голосила. Де-

вочка закрыла дверь и в испуге помчалась обратно в Беглово. Значит, правду говорят старики, что сестры прокляты богом и помрут в слезах...

К геологам Клавдия не показывалась, а устроилась дояркой на совхозной ферме. Года два в избу Клавдии Петровны не ступала ни одна мужская нога, кроме как стариковская.

Осень кончилась. Ожидали заморозков. Клавдия Петровна отправилась вместе с другими бабами за кедровыми шишками. Орехов уродилось много, и бабы решили на них заработать денег. В тайге Клавдия Петровна отбилась от компании и неожиданно натолкнулась на человека, лежавшего под вывернутым шнем, закутанного в тонкое рваное одеяло. Человек был без сознания, страшно худой, весь в ссадинах, но дышал. Клавдия кликнула Ольгу, и вдвоем снесли человека в избу Клавдии. Этот человек оказался рабочим из какой-то Кузьмовской экспедиции. Ушел он шишковать да заблудился. Назвался он Анатолием Поликарповым.

Анатолий был рыжим, а лицо изъедено оспой. Пока набирался сил, все говорил, будто ему нужно поскорей вернуться к месту работы.

— А то могут подумать, что я пропал либо сбежал, — говорил он.

Вел себя Анатолий тихо. Возился с Васей целыми днями, и тот привязался к нему. Попозже Анатолий начал выходить во двор и копошиться в хозяйстве. Ни разу Клавдия Петровна не слышала, чтобы он выругался, как ругаются другие рабочие. А о выпивке и не заикался. Днем стучит топором, возится с вилами в хлеву. А вечером рассказывал изредка о себе. Говорил, будто он крут-

ый сирота, что скитаться ему надоело по тайге, да не знает, где бы приткнуться. Свет от керосиновой лампы ложил на его худом лице тени под глазами и даже в ямках провалившихся щек.

Смотрела на него Клавдия, а у самой сердце сжималось от жалости. Ни матери, ни отца не знает. И на всем свете нет у него человека родного. Девки, наверное, не ласкали его. А видно, хороший человек — хозяйство любит... Как-то сходила она к Ольге замочить четыре белчих шкурки в чане. После работы помылась в бане и уложила Васю спать. Анатолий лежал в боковушке. Клавдия вынула из печки сушившиеся шишки, рассыпала их по рогоже, убрала волосы под платок и заглянула к постояльцу. Тот лежал на спине и глядел в потолок. Потом перевел взгляд на остановившуюся в дверях хозяйку. И так печально смотрел на нее Поликарпов, что она не выдержала. Сбросила с головы платок, подошла к нему, присела и, проведя пальцами по густым жестким рыжим кудрям, зашептала:

— Славный ты, тихий... Видать, судьба привела тебя сюда...

Затем прилегла рядом с ним.

— Какой холодный ты... Ну погрейся. И баб, поди, не знаешь?

Так появился у Клавдии Петровны второй муж. У вот когда родился мальчик у них, Поликарпов сам признался, что он не рабочий, а беглец из колонии. Говорил, будто это была последняя его попытка сбежать.

— Ну покаешься, и, может, простят? — спрашивала Клавдия Петровна.

— Нет, меня не простят. Я все время убегал.

О провинности своей Поликарпов не говорил. Милиция заглядывала редко в Строгалево. Несколько раз в год приезжали милиционеры в Подкаменную, и тогда изредка кто-нибудь из них пробирался в Строгалево. Да и то в том случае, когда жители сами звали для разбора какого-нибудь дела.

О признании Анатолия Клавдия Петровна никому не говорила, кроме сестры. Но, должно быть, мальчик услышал и проболтался. По деревне прошел слух о беглеце, и добрался этот слух до Подкаменной.

Клавдия Петровна узнала, что милиция собирается ехать к ним по делу Анатолия, и сказала ему. Но тот принял известие спокойно.

— Пусть берут, — сказал он. — Кольку береги. Может, скоро выпустят, тогда вернусь. Надоело бегать и прятаться. Собери в дорогу чего-нибудь... Буду думать о тебе и о Кольке.

Собрался он, попрощался с Клавдией и, не дожидаясь милиционеров, сам пошел им навстречу.

Третий муж Клавдии Петровны был из «законных», как и первый. То есть в тюрьмах не сидел и приехал сюда начальником всей геологической партии. К этому времени совсем близко от Строгалева, километрах в двадцати, обнаружили в земле залежи руды. Нужно было точно установить: сколько этой руды и есть ли где еще поблизости она.

Приехало в деревню много рабочих. С утра отряды уходили в тайгу. Некоторые из отрядов к ночи не возвращались, а появлялись дня через

три-четыре, а то и через неделю-две. Новый начальник вначале только столовался у Клавдии Петровны, платя в месяц за харчи триста рублей. Позже он арендовал под контору две пустовавшие боковые комнатки вместе с бывшей молельной деда. Прорубил в стене отдельный вход, сделал крыльцо, двери и устроил таким образом в избе Строгалевых контору. А спустя месяца три по деревне пронесся слух, что Клавдия сошлась с начальником и живут как муж с женой. Фамилия начальника — Охлопков, а звали Константином Николаевичем.

Тогда же работал в этой партии рабочий Баринов Ванька, носивший прозвище Полтора Ивана. Так прозвали его за громадный рост и удивительную силу. Говорят, будто заявился Полтора Иван не с Енисея, как прочие люди, а пришел из тайги. Из документов у него имелась только одна справочка, в которой значилось, что Баринов отбыл в заключении положенный срок и выпущен на свободу. Ходил Полтора Иван в сером толстом свитере, в брезентовых штанах, свесив вперед могучее правое плечо и по-волчьи поглядывая на встречаемых. Однажды ребяташки наткнулись за Тунгусским оврагом на берлогу медведя. Собралась целая компания вооруженных ружьями людей, и хотели пойти убить медведя. Баринов сказал, чтобы не ходили, — он сам заколет медведя без ружья. Вся деревня высыпала смотреть на Полтора Ивана, когда он шел через деревню в тайгу. Руки, шея и грудь у него были густо обмотаны веревками, а поверх надета куртка из толстого брезента. В каждой руке он держал по длинному ножу, отбитому из старой косы. За Иваном по-

шли несколько человек, и они видели, как он шестом выгнал медведя из берлоги, и, когда зверь бросился на него, Иван всадил один нож в ухо, а второй со спины под лопатку, а сам успел отпрыгнуть. За три таких приема и уложил Полтора Ивана медведя. Потом взвалил его на плечи и принес в деревню.

Осталась молва, что, будучи трезвым, Баринов никого не трогал и главное — терпеть не мог жуликов. Однажды случилась кража на деревне — у одной хозяйки стащили с веревки сушившееся белье. Баринов разведal вора. Оказался им недавно приехавший на работу парень. Полтора Ивана приказал парню вернуть белье на место, затем свел жулика к Енисею, взял его за ноги и, раскрутив как палку, забросил в воду на глазах у всей деревни. Парень кое-как выбрался на берег и больше не воровал.

Еще любил Баринов «пугать» начальство. Едва появлялся новый начальник и подходил какой-либо праздник, когда начальник собирал у себя гостей, Баринов входил в избу в разгар веселья, останавливался у порога, скрипел зубами и, страшно вращая желтыми белками глубоко сидящих глаз, требовал водки. Начальники попадались маленькие, пузатые, крикливые. И каждый торопливо спешил отделаться от Баринова, цедившего сквозь зубы: «Смотри, начальник, тайга — закон, медведь — хозяин».

Соблюдая традицию, Баринов заглянул и к Охлопкову, когда тот на День Победы собрал в избе Клавдии Петровны горстку гостей.

— Начальник, давай денег, — заявил Полтора Ивана, ввалившись в избу, и стал у порога, пока-

чивая пудовыми кулаками, как бы делая разминку.

— Я что, брал у тебя займы? — спросил Охлопков, поднимаясь из-за стола.

— Я хочу, чтобы ты дал денег или водки ради праздничка, — заявил Баринов и заскрипел зубами.

Одним ударом Константин Николаевич сшиб с ног просителя, и тот с грохотом рухнул в сени. Три раза поднимался Баринов и три раза, не успев размахнуться своей страшной лапищей, летел на землю. Наконец сбегали за рабочими, и те унесли его.

Сильный и смелый был мужик, и с Клавдией Петровной жили они хорошо. Сейчас чаще всего вспоминает она последнюю зиму совместной жизни с Константином Николаевичем. Многие напоминает о нем. Вон там в потолочную балку вбиты гвозди. Пять лет назад к этим гвоздям была прикреплена на тонких крепких шнурах маленькая люлька. В люльке копошился Митя, от которого она не отходила ни на шаг. Вот она стоит, наклонившись над люлькой, и поправляет пеленки. За окном темнеет. Неожиданно Клавдия Петровна вздрагивает, поднимает голову и спешит к двери: в сенях стучат о порог валенки, стегает по ним замерзший голый веник. Раскрылась дверь, и входит он — красивый, образованный мужик. Неторопливо снимает легкий, теплый полушубок, вешает его, подходит к ней и, обняв ее за плечи, целует в щеки, в губы, в глаза.

— Красавица моя лесная, — шептал он, — чудесная моя хвойная красавица!

Потом он садился на стул и стягивал с ног валенки. Клавдия Петровна подсаживалась помочь.

— Что ты, таежница! Что ты! — говорил он, отводя ее рукой. — Не надо, родная!

Усаживался к столу, басил ласково, мельком взглянув на люльку:

— Дай-ка горяченького... Что у тебя там сегодня есть? Ох, и устал же я!

И сейчас она понимала и знала, что делать. Сама не своя бегала от печки к столу. А когда он ел, сядет напротив и смотрит на него молча.

— Ну ты опять, Клава, — скажет он, улыбаясь, — так смотреть, когда человек ест, нехорошо.

Она спохватывалась, обращалась к Мите и, то и дело оборачиваясь, смеялась беззвучно.

После ужина начинался вечер из ряда тех вечеров, о которых, по ее словам, она и понятия не имела прежде. Первый мужик ее был на людях весел, но дома молчалив. И если не было делового разговора, он с ней и не разговаривал. Рыжий Анатолий в счет не идет — она его просто жалела. Этот же играл с ней, с тридцатилетней женщиной, как с девочкой. Бегал за ней по избе, поймав, поднимал на руки, носил по комнатам и, глядя в черные глаза, спрашивал:

— Откуда ты такая? Откуда эти брови? Кто ты?

— Я баба, — выдыхала она, не в силах сказать еще что-либо, чувствуя, как густая судорога разливается по телу и туманит мозг.

— Нет, ты не баба, — шептал он, — ты юношеская мечта моя. Когда мне было семнадцать лет, я мечтал именно о тебе!

И этот сильный мужчина был нежен и ласков в постели, доводя ее до забытья, что особенно поражало Клавдию Петровну.

— Как выйду утром на крыльцо, — рассказывала она, — господи! Ну совершенно девчонка я! Ну будто только-только родилась на белый свет.

И занесенная снегом опушка тайги, нависшая над темнеющей дорогой, и низина у ручья, покрытая белыми холмами с зелеными пятнами пробивающейся хвои, избы, которые тысячи раз видела прежде и не замечала, — все, все окружающее, родное казалось незнакомым и радостным. Даже по порожкам крыльца ступала как будто впервые в жизни.

Зимы здесь морозные, снежные и безветренные. В утренней тишине, перебирая свои незнакомые, неясные мысли и слушая мягкий скрип снега под ногами, проходила в хлев. Только благодаря давнишней привычке, руки ее брали маленькую скамеечку, ставили эту скамеечку под только что поднявшуюся на ноги корову. Сама присаживалась и, обмыв соски и вымя, прижимаясь ухом к теплomu коровьему боку, сдаивала молоко. Вдруг оставляла работу и поднималась со скамеечки. Развязав платок, проводила Клавдия Петровна узкими шершавыми ладонями по горящим впалым щекам и так стояла, покуда звуки проснувшейся деревни не заставляли вздрогнуть и очнуться. Как во сне жила Клавдия Петровна в те счастливые дни. Потом она начала чего-то бояться.

Да и полно! Боязнь ли то была? Когда Охлопков находился в избе, у Клавдии Петровны все время гуляла на лице улыбка. Едва он уходил на работу, улыбка исчезала, и тогда глаза, брови и губы выражали одно — ожидание. Справившись с

хозяйством, Клавдия Петровна бежала в избу Силантьевны к Ольге. Но чаще та сама прибегала. Баловалась Ольга с детишками и часто ревела — она столько прожила с Федором, но так и не забеременела. Уж что только не советовали ей старухи! И богу молилась, пила настой из трав, ходила к ворожеям — ничего не помогло. И Клавдия Петровна не знала, как, чем помочь горю сестры. Однажды Ольга пришла в избу Клавдии Петровны вместе с Силантьевной. Последняя предложила использовать крайнее средство: съездить в Томилово к бабке. Клавдия Петровна только вздохнула, но против ничего не сказала. Что она могла против сказать? У ней-то вон как жизнь счастливо сложилась, а Ольге каково?

— Тогда уж, бабы, чтоб в тайности все было, — говорила Клавдия Петровна, — не то не дай бог Федор узнает... А если кто прослышит, то непременно разнесет слух. Тайность нужна большая.

Старая Силантьевна только кивала головой и поддакивала.

— Господу клятву дадим, — шептала она, — нас трое, и больше никто знать не будет.

Ольга была согласна на все. Конечно, страшно — а вдруг однажды скажут со смехом на деревне:

— Да у нее томиловский ребеночек!

Куда тогда деваться... Но делать нечего. Собрали Силантьевне шкурок, денег, и та в одну из ночей пешком ушла в Томилово за сорок километров. Возвратилась также ночью на следующие сутки. Сообщила, что в Томилове приезжих людей много, как и у них. За деревней расчищают большое поле, что-то строить собираются.

— Да не тяни, тетка, — шипела Ольга, — а с этим договорилась, возьмется?

— Возьмется, милая, возьмется. Только самой бабки Агафьи нету, она померла прошлой весной. А вместо нее сестра ее Варвара. Обещала все сделать. Клятву ей принесла о молчании, и еще надо будет рублей пятьсот свезти. Трудно, говорит, и опасно с этим делом сейчас...

Выдался день, когда муж Ольги уехал в тайгу на неделю, и она с Силантьевной собралась в Томилово. В полдень будто в тайгу заготавливать дрова ушли. А сами прямым ходом в Томилово. К деревне подошли под вечер. За кустами дождались темноты и пробрались к четвертой избе от края. Как только ступила Ольга в сени, показалось ей, что и дышать перестала. Каково здесь будет лечение? Что с ней сделают? Смутные всевозможные слухи ходили о здешней знахарке. Прошли коридором, Силантьевна постучала три раза палкой в дверь, обшитую горбылями. На стук вышла пожилая красивая баба, закутанная в черный платок. Увидев пришедших, Силантьевну сразу же провела в избу. Вернувшись, взяла Ольгу за руку и через соседнюю дверь завела в темную комнату без окон и закрыла дверь. Ольга постояла в нерешительности, затем походила, выставив вперед руки, — ничего нет в комнатушке, и бревенчатые стены голые. На полу около стены что-то постелено. Она присела и, еле дыша, затихла. Потом пришла Силантьевна. Ни слова не говоря, раздела ее и унесла одежду. После Силантьевны появилась баба в платке. Долго читала над Ольгой какие-то молитвы и что-то шептала.

— Если с первого разу ничего не выйдет, помолчи несколько месяцев и снова приходи.

— Хорошо... Приду...

И когда баба ушла, долго сидела Ольга в одиночестве. Продрогла. Хотелось ей от страха зарвать, броситься к двери и колотить по ней кулаками, но сдержалась. Наконец щелкнула задвижка, дверь раскрылась и тотчас снова захлопнулась. И только слабо охнула она, когда что-то осторожные, но сильные пальцы нащупали ее голову, взяли за плечи и положили на спину.

Вечером следующего дня Силантьевна и Ольга уже спешили по тайге обратно домой.

— Господи, кто же это был, тетушка? — спрашивала Ольга.

— Молчи ты, дура, — отвечала спокойно Силантьевна, — и не думай об этом, иначе ничего не получится.

Когда вошли в свою избу, их встретила Феня. Накануне она навсегда покинула Беглово.

Феню давно тянуло в Строгалево. Но когда маленькая была — боялась. Уж какими только позорными словами не обзывал отец сестер. Да и когда со всех девяти избушек собирались у кого-нибудь старики, то, слушая их, Фене казалось, что из-за этих пришлых людей или сгорит Строгалево, или провалится под землю. К тому же боялась она своего отца. И когда выросла — боялась. Он был молчалив, хмур, и казалось ей, что в черных больших глазах под нависшими бровями живет какая-то свирепая мысль. За непослушание отец стегал ее. Будто и не думал, что она выросла. Чуть скажет слово поперек, задирает юбку и стегал. Делал это молча и после порки будто мягчал немного.

Мать тоже постоянно ворчала, строго следила за дочерью. Едва протопив печь, спускалась в большое подполье, где стояли бревенчатые клетки, и там перебирала соболиные, беличьи, медвежьи шкуры. Феня знала, что это все старики готовят ей на приданое, но сколько чего там есть, не знала. Ее не пускали в подполье. Отец и еще один крепкий старик, Прохоров, ходили на охоту. Уйдут с утра и возвращаются вечером либо спустя сутки-две. Иногда исчезнут в тайге на месяц, — это когда ходили за соболями. Медведей обдирали там на месте, где убивали, и домой приносили шкуру и немного мяса для себя и собакам. Случалось, зимой и всю тушу медвежью привозили. Тогда мужики садились пить чай, а мать с Феней работали быстро ножами, разделывали тушу. В избе пахло кровью и утробой зверя.

Поняла Феня, что ослабел отец, в один из дней, когда решили зарезать кабана. Кабан был громадный и злой, так как много кормили его мясом. Обычно отец колот одним ножом. Зайдет в стайку, почешет, почешет животное за ухом, успокоит и резко пырнет ножом под лопатку. А сам навалится на кабана и держит прижатым к земле, покуда выходит кровь. В тот же раз старик чего-то испугался. Решил прежде оглушить кабана обухом топора. Размахнувшись, ударил в узкий лоб, покрытый грязной щетиной. Кабан охнул и упал на передние ноги, удивленно глядя перед собой. Феня видела: пальцы отца хватились за рукоять ножа, торчавшего за голенищем, но никак не могли вытащить его. Дрожали пальцы. А кабан уже зашевелился. Подскочила она к отцу,хватила нож и ударила им кабана под лопатку. Тот взре-

вёл, рванулся и рухнул замертво. И уже не отец, а она развела большой костер и с матерью опалила щетину. Чувствуя слабость и близкую кончину, отец решил выдать Феню замуж за сына Прохорова Сережку. Сережка был ровесник Фени. Это был некрасивый, хилый малый. Вечно молчаливый, он болел какой-то болезнью, от которой зимой тело его местами покрывалось красными пятнами, исчезающими только летом от солнца. Охотиться далеко в тайгу Сережка не ходил и все либо сидел в избе, либо около деревни стрелял или ловил рябчиков.

Уготовленный жених был противен Фене. Но она любила и боялась стариков и потому молча согласилась выйти замуж за него. Спасла ее смерть отца. Как-то он привез на санках вместе с Прохоровым из тайги медведя. Пока женщины разделывали тушу, мужики пили чай. Затем наелись жареной медвежатины. Вечер прошел как обычно, а ночью отец скончался. Спать улегся спокойно, но среди ночи вдруг громко застонал, вскрикнул и смолк. Феня подбежала к нему. Он уже не дышал.

Мать, Феня, старики Прохоровы и вялый Сережка свезли отца на полянку, где хоронили умерших, и закопали там его. Спустя месяц и мать Фенина отправилась следом за стариком.

Похоронив мать, Феня заперлась в избе и остаток дня ходила из угла в угол. Что ей теперь делать? Как жить? За Сережку она не пойдет ни за что. Под вечер зажгла лампу и спустилась в подполье. Знала она, что здесь хранятся шкурки, но не знала, что их там много. В высоких деревянных клетях в три яруса висели пучками соболи-

ные и беличьи шкурки. От света лампы черные шкурки соболей засветились, и казалось, горят они. Полазила она по просторным клетям, то и дело трогая шелковистые мягкие шкурки, и поднялась в избу. На следующий день пришел Прохоров. Говорил о шкурках. Выходило по его словам: все они в переводе на деньги стоят тысяч сто, не меньше.

— Выйдешь за Серегу, помогу продать их, — говорил Прохоров, — и отпущу в Строгалево вас обоих. Избу построим, сети купим.

Раньше, как и отца, побаивалась его Феня, а тогда вдруг вснылила:

— Отстаньте со своим Сережкой! И видеть его нет желания!

Прохоров нахмурился, посидел молча и, проговорив: «Ну, как знаешь», поднялся и ушел.

Час спустя набились в избу старухи. Пытали: как девка хочет жить дальше?

— Уйду от вас в Строгалево, ведьмы! — говорила Феня, сама не зная еще, отчего вдруг полезла из нее злоба на всех бегловцев.

Старухи завыли, упали на колени и начали молиться.

— Да вам-то что? — кричала Феня. — Вам какое дело до меня? Захочу — здесь останусь жить, захочу — уйду. Разоденусь в Строгалево в шелка да в бархат и буду жить. Убирайтесь отсюда!

Оказалось, что отделаться от стариков не так-то легко. Прохоров в компании с двумя мужиками привели Сережку, которого подпоили, и силой заперли Феню с ним в боковушке. Пьяный Сережка, противно улыбаясь, прижал Феню к стенке. Она сняла валенок и начала бить Сережку. На крик

жениха вбежал Прохоров. Феня вырвалась из комнаты, схватила топор, лежавший у порога, и пригрозила:

— Кто подойдет — зарублю! Сгиньте все с глаз!

Бегловцы решили, что девка ошалела, испугались и разбежались.

Что теперь ей делать? Житья не дадут здесь. Да и какое тут житье?

Раскрыла Феня сундук, достала оттуда два черных шелковых платья, вымененных еще бабкой у цыган за шкурки. Одно платье одела на себя, а другое завернула в узел. Туда же в узел сложила пачку денег, старинные цыганские туфли на высоких каблуках и белье. Затем одела полушубок и обмотала голову платком. Бежать решила ночью. А чтобы не так страшно было, запаслась отцовским тонким острым ножом с костяной желтой рукояткой. Собравшись, сидела под окном в ожидании темноты. Но едва деревья опушки тайги начали сливаться в одну темную полосу, за окном со двора все затянуло дымом. Она выбежала на улицу. Горел хлев, пристроенный к избе. «Подожгли», — пронеслось у нее в мозгу. Но не испугалась Феня. Через огород пробежала к лесу и стала за деревьями. Никто не бежал тушить пожар, будто соседние избы пустовали. Когда же огонь с хлева уже перебрался на крышу избы и половина ее запылала, на дороге показались бегущие люди. Впереди всех бежал старик Прохоров. Минут тридцать спустя хлев был развален и горящие бревна растащены в сторону. Крышу на избе и потолок тоже разломали, не дав огню охватить стены. Прижимая узелок к

грудь, Феня смотрела на копошащихся людей. И только когда они потащили в разные стороны охапки шкурок, теряя их на бегу, поняла она, для чего был сделан поджог. Бежать и отнимать шкурки? Ну их ко всем чертям! Фене сделалось как-то свободнее и веселее. Она махнула рукой, будто прощаясь с кем-то, повернулась и зашагала в тайгу. Пересекла поляну, вышла на дорогу и, сжимая рукоять ножа, двинула в Строгалево. Придя туда под утро, она заглянула к Клавдии Петровне. Охлопков эту ночь не ночевал дома. Он ездил в Подкаменную и задержался.

— Господи! Фенька, это ты такая стала?! — произнесла Клавдия Петровна, когда Феня разделась и осталась в одном черном платье.

Точно такой видела когда-то во сне свою бабушку Клавдия Петровна. Только Феня ростом повыше удалась и казалась еще тоньше.

Сестры обнялись и поплакали. Жили-то, считай, рядом, а сколько не виделись! Феня рассказала о смерти стариков, о том, как избу их подожгли и растащили шкурки.

— Что ж, до последнего дня сердиты на нас были родители, не простили? — спрашивала Клавдия Петровна.

— Где там простили! Поди, еще злее сделалась.

— Ну бог с ними, — вздохнула Клавдия Петровна.

То, что растащили шкурки, не произвело на нее впечатления. Решили, что Феня будет жить в избе Клавдии Петровны. Места много. Поживет, осмотрится, а там куда хочет пойдет работать: либо на ферму, либо к геологам. Но уже на сле-

дующее утро планы изменились. Вечером приехал из Подкаменной Константин Николаевич. И в этот вечер впервые испуганно вздрогнуло и заколотилось сердце у Клавдии Петровны, когда заметила она, как поглядывает Охлопков на Феню, когда та выходила в другую комнату. Смотрел удивленно Константин Николаевич, не скрывая восхищения и покачивая головой.

И утром следующего дня, проводив Охлопкова на работу, Клавдия Петровна порылась в сундуке, достала оттуда два платья, подаренных ей еще первым мужем, подала их Фене и плача попросила, чтобы та ушла жить к Ольге.

— Почему, Клавушка? — спрашивала Феня, глядя на бегущие по щекам Клавдии слезы.

— Ах, не спрашивай, — целуя сестру, говорила Клавдия Петровна, — уж очень ты красива, Феня... Господи, что я говорю... Только не сердись.

Феня, должно быть, догадалась, чего опасается сестра, посмеялась, обозвала Клавдию дурой и ушла к Ольге.

После посещения Томилова Ольга забеременела. Она всегда была спокойнее своих горячих сестер. А перед тем как забеременеть, совсем была тиха. Мужа чего-то побаивалась, хотя Федор был смирным и никогда даже не замахивался на нее. Федор очень хотел иметь ребенка, но сколько лет прожили — все было напрасно. И он чаще уходил с отрядом в тайгу недели на две-три. Теперь же, узнав от жены новость, повеселел. И Ольга сделалась резвее, ласковее. Получалось так, буд-

то они недавно только поженились и живут заново.

Силантьевна разносила слух по деревне:

— Китайской травки попила Ольгушка да две ночи подряд с колен не поднималась, господу молилась, вот и помог ей. Уж теперь-то пойдет рожать. Дай господи ей мальчонку родить.

Наладилась жизнь у старшей сестры, а у средней получилось иначе. С того самого дня, как спровадила Клавдия Петровна Феню к Ольге, закрался ей в душу самый настоящий страх, от которого она никак не могла избавиться. Главное — не знала, отчего ей порой так страшно становится. Вдруг нахлынет какое-то страшное чувство, которое заставит поджать губы, руки опустить, и Клавдия Петровна будто прислушивается к чему-то. На ферме в то время она не работала. Совхоз продал на Алтай с их фермы молочных коров. Себе оставили молодняк. И пока он не подрос, работы было мало. Клавдия Петровна и возилась с детишками да по хозяйству.

Случалось, Охлопков уезжал в тайгу дня на два, на три. И всякий раз предупреждал, на сколько дней едет. Но подходил вечер первого дня, и Клавдия Петровна уже ожидала его. Вдруг он придет? Соскучится и примчится на ночь. А может, забыл что-нибудь? Но что же он мог забыть? Начинала думать о людях, с которыми много времени проводил Константин Николаевич. Вот летом у них жил художник, рисовал и перерисовывал картины. Художник не нравился Клавдии Петровне. Покуда не уехал обратно в Москву, целые вечера разговаривал с Охлопковым. Принесут вино, спирту и сидят, рассуждают о Москве, о ка-

ких-то московских людях, о книжках, о картинках. Случалось, говорят-говорят, а как появится она в избе, смолкнут, переглянутся и снова уже о чем-то другом беседуют. Художник к зиме уехал, оставив несколько незаконченных картин. Константин Николаевич некоторые из них развесил по стенам.

Но художник — посторонний человек. Из здешних ближе всех к Константину Николаевичу — радист Васька. Васька носит ему телеграммы. За почтой ездит Охлопков к Енисею всегда с радистом. Почту доставляют сюда на вертолете. Изредка он сбрасывает мешок с почтой на поляну, рядом с деревней. Но чаще всего опишет круг над избами и улетает к Енисею, где и приземляется. Васька запрягает лошадь и с Охлопковым катит к реке. Зачем каждый раз нужно ехать Константину Николаевичу? Неужто Васька сам не привезет то, что прислали?

Случалось, от Енисея возвращался один Васька.

— Где Константин Николаевич? — спрашивала Клавдия Петровна.

— Он тайгой пошел прогуляться. Может, рябка подстрелит.

И она ждала его. Ночью робко выпрашивала: долго ли будут здесь работать геологи? Не перегоняют ли их в другое место? Нет, он пока никуда не собирается переезжать. А если и придется перебираться, так она же поедет с ним? Ох, конечно поедет! А бабы-то все болтают... Что же они болтают? А так — пустое...

Успокоится Клавдия Петровна. Но едва Охлопков уйдет из избы — нет ей покоя. И случилось

однажды так: вертолет сделал круг над деревней и пошел к Енисею на посадку. Охлопков и радист покатали на санях за почтой. Клавдия Петровна клялась после сестрам, что сама не знала, зачем и для чего побежала тогда за ними. Какая-то твердая сила заставила ее одеть полушубок, набросить на голову платок, и она побежала. Вот слышно, как скачет обратно лошадь. Клавдия Петровна сошла с дороги в сугроб и стала за кедр. Сани пролетели мимо, в них один Васька. Пробежав дальше под гору метров двести, она увидела в стороне от дороги Охлопкова. Хотела окликнуть его, но почему-то не окликнула. А тайком, по-воровски покралась за ним. Кралась по глубокому снегу, хоронясь за деревьями, покуда он не уселся на пень под старой березой. Видела Клавдия Петровна: достал он из кармана полушубка несколько конвертов. По очереди разорвал их и перечитывал письма. Одно из них сунул под полушубок в карман пиджака, а остальные поджег спичкой и, когда они сгорели, пепел затоптал ногами в снег.

Клавдия Петровна даже не шевельнулась, когда он прошел мимо нее обратно к дороге...

Вечером же Константин Николаевич сидел в конторе за столом над своими бумагами, что-то долго писал и читал. Один раз оторвался от занятий и прошагал на жилую половину. Клавдия Петровна месила тесто. Взглянув на него, протяжно охнула и быстрее заработала руками.

— Что с тобой, Клава, ты нездорова? — спросил он.

Она вздрогнула.

— Нет, это так, что-то не можется...

Ночью она достала из кармана пиджака два письма. Одно было написано им вечером, а второе — то, которое он получил. Клавдия Петровна усвоила из писем: в Москве у Константина Николаевича есть жена и ребенок. Они с нетерпением ожидают его возвращения. Он же в скором времени получит много денег, пошлет их, а к весне сам придет.

Клавдия Петровна не закричала, не заплакала. Торопливо сунула письма на место, взяла Митю из люльки и забралась с ним на печь. Утром она с печи не слезла. Лежала неподвижно на спине и глядела молча в потолок.

— Что с тобой, Клава? — трогал ее за плечо Охлопков.

Она на мгновение переводила взгляд на него и в испуге отворачивалась.

— Ну скажи, в чем дело? Где болит?

В ответ ни звука.

Днем маленький Вася сбежал за Феней и привел ее. Но и сестре Клавдия Петровна ничего не сказала. Так прошло три дня. Больная с печи не слезала, ничего не ела, молчала и только пила воду. А на третью ночь случилось то, о чем Клавдия Петровна даже не думала и не помышляла. И потом, если рассказывали ей, — не верила, что могла так поступить. В ту ночь слезла она с печки, неслышно прошла в сени, взяла там топор и, подойдя к кровати, на которой спал Константин Николаевич, остановилась. Странный случай спас Охлопкова — он проснулся. Увидев над собой топор, он схватил его и узнал Клавдию.

— Что ты, дура?! — заорал он.

Она выпустила топор и мягко осела на пол.

После этого случая Клавдия Петровна пролежала в постели около месяца. Феня не отходила от нее.

«Уехал? Уехал? — спрашивала больная то и дело, цепко хватаясь пальцами за Фенину руку и до синевы сжимая ее. — Где он? Уехал? За что же он так?»

А Феня успокаивала сестру: не совсем уехал Константин Николаевич. Ему нужно было по делам, он и поехал и должен скоро вернуться...

Клавдия Петровна недоверчиво слушала сестру. Однако от слов сестры напряжение с лица постепенно сходило. Она опускала голову на подушку и успокаивалась.

Когда поднялась на ноги, в конторе сидел новый начальник. Первое время Клавдия Петровна часто ходила к нему, спрашивала о Константине Николаевиче: нет ли от него письма, когда же он должен вернуться? Просила адрес, по которому можно написать, что Митя здоров, что в избе у нее чисто, как он любил, что картины, оставленные художником, она хранит и утирает с них ежедневно пыль.

Вначале начальник выслушивал ее, затем начал избегать встреч. Едва говорили: «Строгалева идет», он запирает дверь на ключ и велел говорить, что его нет — уехал в тайгу.

Васька-радист, ухмыляясь, давал ей вымышленные адреса, и она отсылала письма по этим адресам. А Васька хихикал, рассказывал об этом на деревне. Некоторые из писем возвращались обратно, а некоторые исчезали. Вернувшееся письмо Клавдия Петровна вначале долго держала в

руках, не распечатывая, почему-то странно ухмыляясь одними губами. Распечатав, перечитывала несколько раз свои же строчки и плакала... Со временем Клавдия Петровна сделалась спокойнее. Редко к кому приставала с расспросами, а только ждала приезда Охлопкова.

Год спустя простудился и умер муж Ольги, оставив ее беременной вторым ребенком. А Феня уже работала у геодезистов, приехавших вместо геологов, большинство которых покинуло Строгалево. Геодезисты снимали рельеф местности вблизи деревни и дальше от нее. Съемку вели маленькими отрядами. Феню приняли в отряд геодезиста Бурсенко. Это был спокойный малый лет тридцати восьми, деловой и аккуратный в работе, холостой. Так как вначале у него был один отрядик, состоящий только из женщин, то работу давали вблизи деревни.

В то время снова заговорили о строительстве Енисейской ГЭС, и изыскательные работы увеличились. По обеим сторонам Енисея, одна против другой, рубили просеки в тайге. Эти просеки врезались в тайгу километров на десять—двенадцать от берега. Просеку прорубят — приходят бурильщики, геофизики. Они изучали породу, из которой состоят берега. Геодезисту дали еще один отряд рабочих и оба отряда перевели работать на Енисей. Отряд девушек работал на правом берегу. Здесь просека была уже прорублена года три назад. Она заросла молодняком, и девушки расчищали от него просеку — вот-вот ожидали прибытия бурильщиков.

Сам же Бурсенко с мужиками рубил на левом берегу новую просеку. Геодезист раза два-три в неделю по вечерам переплывал на лодке к палатке девушек проверять работу и узнать как что.

— Ну, девчата, как дела? — спросит он, выбравшись на берег, присаживаясь около горячей печки. — Ничего не случилось?

— Ничего, Виктор Васильич.

— Сколько на сегодня прошли?

— С четверга триста сорок метров, — отвечала старшая, по имени Надя, — кустов много попало, и задержались.

Бурсенко записывает цифру в блокнот.

Девчата угостят чаем. Геодезист попьет, спросит, не кончились ли какие продукты, попрощается и плывет к себе.

Фене нравилось работать в тайге. Нравился и спокойный, деловитый начальник их. И подружки попались хорошие. Все приехали из Воронежской области по вербовке, на Феню смотрели как на таежницу и во всех житейских делах слушались ее. Ведь Строгалева совершенно не боялась тайги. Хоть вечером, хоть на ночь глядя могла пойти куда угодно. Возьмет свой нож, оставшийся от отца, и зашагает. И только хохотала, когда подружки в ветреную дождливую погоду жались друг к другу, сидя в палатке. То казалось им, будто топчется кто-то за палаткой, то чавкнул медведь. Однажды они на самом деле увидели медведя. В полдень, попив молока, лежали тихонько на просеке. Устали и отгоняли комаров, молча отдыхали. Надя зачем-то поднялась на ноги, оглянулась назад и, охнув, кинулась бежать. Да ноги отнялись от страха — присела, ухватилась за голову и

завыла. Двое других бросились наутек. Метрах в тридцати от них стоял громадный медведь с длинной, как у кабана, мордой и удивленно смотрел на убегающих. Феня же схватила топор и стала бить по нему железными шпильками. Медведь фыркнул и скрылся в тайге.

— Ну если бы он набросился на тебя? — допытывались после подруги.

— Нет, он на меня не набросился б, — спокойно отвечала Феня, слегка разводя в улыбке свои густые сросшиеся брови, — зачем ему?

И не понять было: на самом ли деле она была уверена, что медведь ее не тронет, или храбрилась.

Через каждые две недели за рабочими приходил катер и увозил их в деревню закупать продукты.

Феня не любила ездить в деревню. Часто подруги уезжали в Строгалево, а она оставалась в палатке. Деревня не нравилась ей. Старух же своих деревенских Феня ненавидела. Это же они шептались, когда она пошла работать:

— Бог троицу любит. Одной сестре ребят не давал, мужа прибрал у нее. Средняя на мужиках чокнулась, а третьей — та же дорожка уготована.

И пока не уехала Феня из деревни, чего-то боялась она. Наблюдая по вечерам, как Клавдия Петровна бродит привидением по избе, что-то шепчет, останавливаясь перед картинами, перебирает конверты со своими письмами, Феня думала: «Что же с ней такое? Неужели она проклята?»

И делалось ей страшно. Очень страшно. Первые дни, как вернулась из Беглова, многое в деревне веселило ее и занимало. Как наедут в субботу геологи из тайги, помогут в банях, оденутся

в чистое и гуляют, пьют спирт, вино, а потом песни поют, пляшут. Теперь ей Беглово казалось глухой темной деревушкой, напоминавшей медвежью берлогу. И она радовалась, что ушла оттуда.

Насмотревшись через окно на гуляющих, Феня выходила во двор, становилась у изгороди и наблюдала. Заглядится на компанию подвыпивших, вдруг засмеется над их дурачеством и убежит в избу. Двое парней нравились ей, хотя видела она их всегда издали. Один беловолосый, высокий. Всегда ходил в чистой рубашке, и, где бы он ни был, вокруг него собиралась веселая компания. Как его звать — Феня не знала, да и не спрашивала ни у кого. Второй, останавливавшийся ночевать через две избы, нравился своими большими серыми глазами, широкими дугами черных бровей.

Позже стала ходить Феня на конец деревни, где в большой избе, в которой прежде хранили шкуры, показывали кино и танцевали. Но туда опасно было ходить: подруг не было и раза три возвращалась домой одна, едва-едва убежала от парней, пытавшихся провожать ее. Правда, они ничего худого не говорили, но кто их знает, что у них на уме. А дальше еще беспокойнее сделалось ей и страшнее. Как-то подсел к ней в клубе Полтора Ивана. Молча разглядывал ее, затем о чем-то заговорил хриплым, глухим голосом. А она сидела чуть жива. Много прослышала она об этом громадном человеке. И когда поглядывала на его громадные руки, на широкие сухие губы большого рта, казалось Фене, что это не человек, а какой-то зверь. Не дослушав его, она тогда поднялась и убежала домой.

После того случая ни один парень не подходил к ней, где бы она ни была.

А по деревне пронесся слух: «Полтора Ивана Феньку Строгалеву наметил в жены. Объявил: кто тронет ее — пусть пеняет на себя».

И в избу к ним повадился ходить Баринов. В тот день, когда он приезжал из тайги, она забиралась на чердак, где устроила себе постель, и сидела там. Когда Полтора Ивана приходил в избу, слышала его голос.

— Где же Феня? — спрашивал Баринов у Клавдии Петровны.

— В Беглово ушла, — отвечала та.

— Так...

Баринов долго сидел молча. Потом говорил Клавдии Петровне, что хочет жениться на Фене и что он любит ее и не отстанет, покуда своего не добьется.

— Бог с тобой, Ваня, — говорила Клавдия Петровна, — оставь ты девчонку... За твои намерения никто тебя винить не может. Да молода девка-то. Боится тебя. Погляди, ты вон какой громадина. Тебе впору взять здоровую бабу, и живи... Фенька против тебя что травинка перед кедром столетним...

— А кому же она подходит? — спрашивал Полтора Ивана и так косил глазом, что и Клавдия Петровна умолкала.

Уходя, Баринов говорил:

— Передай ей: нехай ничего не боится. Ни я, ни кто-либо другой не подойдет к ней. Я буду ждать, когда даст согласие.

И он ждал. К ней не приставал. Случалось, в клубе подсядет рядом и сидит молча, но не тро-

гает. А Фене от этого еще страшней: что он задумал?

Ночами снился ей Полтора Ивана. И просыпалась она в испуге. Торопливо, будто он вот где-то здесь, перебиралась на постель к сестре, и та кое-как успокаивала ее.

Когда Феня пошла работать и ее направили к Бурсенко, Полтора Ивана однажды задержал его у магазина, отвел в сторону и сказал:

— Смотри, Виктор Васильич, ты обо всем знаешь. Скажи своим ребятам, чтоб ни-ни... Иначе худо будет.

Феня узнала об этом наставлении и старалась от рабочих держаться подальше: вдруг слух пустят да этот слух доберется до Ивана? Ни за что пропадет человек.

И вот здесь, в тайге, не было ни проклятых старух, ни Ивана. И даже радовалась, что не видит Клавдию, глядя на которую ей всегда хотелось плакать или бежать куда-то.

Когда девчата субботним утром уезжали в деревню, Феня готовила завтрак. Если погода стояла солнечная, подолгу купалась. А потом стояла у самой воды в одних трусиках, обсыхая, разбрасывая за спиной длинные черные волосы, чтобы скорей просохли. Изредка проплывал мимо белый пароход. С берега люди на палубе казались маленькими. И она им, должно быть, казалась маленькой, худенькой девочкой. Кто-нибудь махал ей рукой с парохода, и она отвечала тем же. Часто с парохода доносилась музыка. Феня слушала ее и представляла себе какой-то другой мир, куда плывут люди. И как там они живут. И ей хотелось тоже поплыть и посмотреть. И вот когда уже паро-

ход скрывался за поворотом, ей каждый раз казалось, что кто-то плывет на этом пароходе из знакомых. Кто-то близкий, который знает ее и с которым ей было бы очень хорошо. Уединение развило в ней воображение. И подолгу стояла она, слегка покачиваясь, будто от ветра. И после всех размышлений перед ней появлялся образ ее начальника Бурсенко. Из всех он казался ей самым лучшим. Такой спокойный, добрый. . . Она стояла и улыбалась. Затем шла к палатке или ложилась на песке и смотрела на тихий, темный другой берег. . .

Лето пробежало спокойно. Подошла осень. Чаще выпадали дожди. Просеку уже расчистили. На барже привезли трубы для бурильщиков. Вскоре они должны были приехать, посмотреть просеку, и тогда девчат переведут на другое место работы. Так как делать было нечего, то подружки часто уезжали в деревню на день-два, и Феня оставалась одна. Днем спала, вечером долго не могла заснуть. Уходила к берегу Енисея, туда, где большой камень лежал наполовину в воде, садилась, обхватив колени руками, и сидела тихо, не шевелясь. Над головой носились стаи уток, гусей, они собирались в дальний путь. Кружили крикливые чайки, опускаясь ночевать на середину Енисея, так как боялись берегов. Незаметно от тайги наплывали сумерки. У прибрежных кустов стлался туман. Когда уж совсем темнело, то все равно и слева и справа доносилось хлопанье крыльев, что-то фыркало, шлепало по воде. Невидимые стаи птиц со свистом проносились чуть ли не над головой, где-то там опускались на воду.

А она сидела и сидела, не желая шевельнуться.

И вот однажды, сидя так, она почувствовала, что продрогла, хотела подняться и пойти спать, как услышала позади себя тяжелое дыхание. Кто-то дышал. Феня оглянулась и увидела Баринова. Он стоял голый по пояс и молчал, опустив руки. Она хотела вскрикнуть, вскочить, но не смела сделать ни то, ни другое. Баринов молча взял ее на руки и отнес в палатку.

В эту ночь Бурсенко слышал с того берега крики. Выходил к воде, прислушивался. Но крики не повторились. Утром он с одним из рабочих переплыл к девушкам и увидел такую картину: на середине палатки девушек лежал в луже крови голый Полтора Ивана. Он лежал на животе. Когда его перевернули, то увидели на груди, там, где сердце, узкую, длинную рану. Баринов был мертв. Искали Феню, но нигде не нашли.

Прежде я несколько раз бывал в Строгале. В прошлом году побывал еще раз. Погода стояла солнечная, жаркая. Когда вошел в деревню, на улицах не было ни души. Нужно было где-то остановиться, оставить чемодан и отправиться на поиски начальника отряда геодезистов. Пройдя одну улицу и никого не увидев, я перешел на вторую. Здесь увидел впереди себя девушку, которая несла воду на коромысле. Девушка среднего роста, стройная, с большим узлом густых черных волос. Она шагала легко, стараясь ступать сухими загорелыми ногами по одной линии, чтобы не расплескать воду. Меня обогнал мальчишка лет десяти. Пробегая мимо девушки, он крикнул:

— Клавдия! Твой начальник приехал!

Девушка вздрогнула, остановилась и внимательно смотрела на мальчишку. Но тот как ни в чем не бывало побежал дальше.

Я подошел ближе, девушка оглянулась, и я отметил по лицу, что это не девушка, а женщина. Лицо у нее темное, узкое. Над черными сросшимися бровями собрались морщинки. Черные раскосые глаза смотрели на меня с ожиданием и даже с каким-то испугом. Поздоровавшись, я сказал, что ищу, где бы переночевать.

— Можно у меня, — сказала женщина, — правда, детишек много, но изба большая. С вами больше никто не приехал?

— Нет, никто, — сказал я.

Прошли к избе. Поднимаясь по ступенькам крыльца, она спросила:

— Вы из Москвы?

Покачав отрицательно головой, я сказал, что не из Москвы, а из Ленинграда.

Очутившись в избе, я удивленно оглянулся. Стены ровно и аккуратно оклеены голубыми обоями и завешаны картинами. Прямо напротив двери висит большая картина с прозрачно-голубой врубелевской девушкой. Прежде я видел ее в музее, то есть там, где не удивляешься ничему, а восхищаешься. В музее я почему-то больше обратил внимания на сочетание голубого и темных тонов, ясно передающих прозрачность и чистоту образа. Но здесь одежда девушки и фон выполнены грубее, и внимание притянули большие темные глаза девушки, которые выражали укор и просьбу, боль и жалость. Рядом с этой картиной еще копии Айвазовского, Репина, Шишкина. Картины выполнены

на полотне, и очень хорошо, если не считать, что кое-где они не дописаны и недописанные места обрезаются.

Сразу же бросилось в глаза убранство комнаты. Дощатый пол выскоблен и чисто вымыт. «Темные» комнатные углы, которые в других избах обычно захламлены или заставлены сундуками, пусты и чисты. У окна тумбочка, а на ней приемник с батареями. На окнах свежие белые гардины. Повсюду в больших стеклянных банках хвойные ветки, собранные букетами...

Прожил я несколько дней у Клавдии Петровны. И все эти дни наблюдал, как хозяйка каждое утро умывает свое мужичье, одевает в чистенькое, а вечером заставляя ребят мыть ноги и умываться. Посуда в этой семье как у городских людей: на каждого мальчика по тарелке, вилке, у каждого своя чашка. И причем применяется все это в деле не от случая к случаю, а ежедневно, как будто все время, как существует изба, в ней жили эти предметы. И еще я заметил: что бы хозяйка ни делала в избе, чем бы ни занималась, она то и дело выглядывает в окно, выходящее на дорогу, и мельком внимательно смотрит вдоль нее. И возникало впечатление, будто и хозяйка, и эта комнатная чистота, и картины постоянно кого-то ждут — вот-вот должны приехать дорогие гости.

На ферму ходит Клавдия Петровна только четыре раза в неделю: в понедельник, среду, четверг и субботу. В остальные дни занимается своим хозяйством и детишками.

При мне в один из очень жарких дней приехал директор совхоза. С утра ходил по ферме, проверял наличие сливок, масла, тары для упаковки

масла. Ругался на неопрятность в молокосливной. Потом заглянул в избу Клавдии Петровны. С кряхтением и ворчанием ввалился в избу, уселся на стул, который едва не развалился под ним, и проворчал:

— Клавдия, дай-ка попить чего-нибудь холодного...

Она принесла из погреба кувшин холодного молока, и Червинин выпил все молоко за два приема. Выпив, оглядел картины и заворчал:

— Эх, Клавка, Клавка, если б не столько детишек у тебя, взвалил бы я на тебя всю ферму... Руководила бы... Всучил бы и спокоен был... А то в сливной опять грязь развели... Питомник для мух, а не ферма.

Он помолчал, огляделся, будто впервые здесь был, с удовольствием потягивая свежий прохладный жилой воздух избы.

— Надо же было тебе собрать этакий детский сад! Сдай ты их в интернат томиловский. Нынче заканчивают его. Самой будет легче.

Клавдия Петровна стояла у стены, сложив на груди руки и печально улыбаясь.

— Ты и скажешь, Иван Иваныч! — заметила она. — Уж какой ты ни есть директор, а все одно мужик, так и есть мужик. Пойди, сдай своих!

— Я не про твоих, дуреха. Я про Ольгиных.

— А мне теперь все одинаковы.

Директор помолчал.

— Так. Ладно... Заходил к Ефиму — нет его, подлеца, дома. В тайгу на ночь подался. Вернется — передай: бычков пусть готовит к отправке в Енисейск. Требуют. Баржа на днях подойдет.

— Ладно.

Поднявшись, директор спросил:

— Что там — вестей никаких нет?

Она покачала головой.

— Нету, Иван Иванович.

Директор напялил на голову картуз, попрощался и вышел.

Вечером Клавдия Петровна снова рассказывала о Фене, о себе. Она не верила, что Феня где-то могла пропасть, и ждала ее. Вспомнила Охлопкова.

— Пошто мне на него обижаться, — закончила Клавдия Петровна рассказывать, — я-то сама какая-то шальная была. Бревна избы казались позолоченными! Беда... Ну да что ж... Вот теперь о себе и не думаю. Жду Феню... Не пропала она — это я знаю... Как пустят у нас электричество, может, и он заедет когда — посмотреть на своего Митю. От Москвы сюда в нынешнее время много ли дней езды?

СОДЕРЖАНИЕ

ТАЙНА В ПОДЛЕСАХ	3
ВСЯКОМУ СВОЕ ВРЕМЯ	20
ФЕДОРЫЧ	44
НЕОЖИДАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ	84
ТОЧКА	109
СЕСТРЫ СТРОГАЛЕВЫ	132

**ЛЯЛЕНКОВ
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ**

Сестры Строгалевы

Редактор И. С. Кузьмичев
Художник М. Е. Новиков
удож. редактор А. Ф. Третьякова
Техн редактор М. А. Ульянова
Корректор Г. Л. Черняк

Сдано в набор 11/XII 1963 г.
Подписано в печать 13/III 1964 г.
М-26 524 Бумага 70×108^{1/2}
Печ. л. 5^{3/4} (7,88) Уч.-изд. л. 6,89
Тираж 30 000 экз. Заказ № 1634. Цена 27 коп.

Издательство «Советский писатель»
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградская тилография № 5
«Главполиграфпрома»
Государственного комитета
Совета Министров СССР по печати
Красная ул., 1/3

Издательство просит читателя дать отзыв как о содержании книги, так и об оформлении ее, указав свой точный адрес, профессию и возраст. Библиотечных работников издательство просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов. Все материалы направлять по адресу:

*Ленинград, Невский пр., 28
издательство «Советский писатель».*

27 коп.

СОВЕТСКИЙ

ПИСАТЕЛЬ

МОСКВА

ЛЕНИНГРАД

1964

27 коп.

